ИНСТИТУТ ЛЕНИНА
БИБЛИОТЕКА
ГИб
Ш948.

ИНСТИТУТ ЛЕНИНА

ГИЬ
Ш 948

В. ШУЛЬГИН

ДНИ

·ПРИБОЙ· ЛЕНИНГРАД

В. В. ШУЛЬГИН

ГИБ
Ш 948

ДНИ

СО ВСТУПИТЕЛЬНОЙ СТАТЬЕЙ И
ПОЯСНИТЕЛЬНЫМИ ПРИМЕЧАНИЯМИ
С. ПИОНТКОВСКОГО

РАБОЧЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРИБОЙ"
ЛЕНИНГРАД :: 1925

К. 7
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 2008
ГИ6 Р
Ш 948
Институт В. И. Ленина
№ 745
БИБЛИОТЕКА
ФФ 27659 25 185792
185792

ТИПОГРАФИЯ
РАБОЧЕГО ИЗДАТЕЛЬСТВА
„ПРИБОЙ"
имени
ЕВГ. СОКОЛОВОЙ
пр. КРАСН. КОМАНДИРОВ 29
ЛЕНИНГРАД.

Ленинградский Гублит № 12573. Тираж 10.130. — 16 л. Заказ № 586.

ЗАПИСКИ ШУЛЬГИНА.

Записки Шульгина „Дни" интересны во многих отношениях. Для правильной их оценки необходимо принять во внимание эволюцию, проделанную российской буржуазией в период после пятого года, с одной стороны, и классовое происхождение и положение автора „Дней"—с другой.

Российская буржуазия в период после первой русской революции переживала быстрый процесс роста и политической самоорганизации. В эти годы власть сохраняется в руках дворянско-землевладельческих групп, переживающих, в годы войны, период разложения и падения сословного землевладения и роста буржуазно-землевладельческих группировок. Соответственно этому, на ряду с политической самоорганизацией буржуазии идет расслоение дворянско-землевладельческих групп и слияние отходящей от них буржуазной части с группировками буржуазии. Под влиянием мировой войны процесс этот шел особенно резко, особенно заметно. Этот процесс кончается захватом власти политически организованной буржуазией. В момент взятия власти со стороны буржуазии одинаково решительно и резко выступали как прежние, давнишние политические представители буржуазии, так и новые, теперь в последние годы перешедшие к ней вожди землевладельцев и националистов Родзянко и Шульгин.

Записки Шульгина, охватывающие период с революции пятого года, как раз и интересны тем, что изображают процесс социальной и политической трансформации российской буржуазии, изображают процесс трансформации националистически-дворянско-землевладельческих групп. Интерес записок Шульгина в этом отношении усиливается еще тем, что сам автор записок вышел из крайне-правого крыла дворянско-землевладельческой группы.

Монархист и националист, депутат Государственной Думы Шульгин был талантливым оратором и публицистом крайне-правой, непримиримой дворянской контр-революции. В одной из своих речей Шульгин говорил: „Несомненно, крупное землевладение, что бы об этом ни говорили, что бы по этому поводу ни измышляли кадеты с братией, несомненно, крупное землевладение является самым культурным, самым развитым, самым независимым и самым способным

к общественной деятельности элементом. Поместное землевладение всегда исполняло роль главы того большого числа, которое называется народом".

Идеолог и борец третьеиюньского режима, Шульгин чутко отражал те изменения, какие происходили в положении дворянско-землевладельческой группы. Война рассеяла иллюзии, поставив самодержавие во всей наготе перед империалистическими помещиками и буржуазией.

Монархия и самодержавие не способствовали, а препятствовали своей политикой победе помещиков и буржуазии. В то же время и экономически - сословный базис трещал и колебался. Это, прежде всего, внесло глубокое разочарование в ряды монархистов. „Невольно, — пишет Шульгин, — в самые преданные... в самые верноподданные сердца, у которых почитание престола шестое чувство, невольно и неизбежно проникает отрава. Вытравляется монархическое чувство, остается только монархизм по убеждению, холодный, рассудочный..."

Но изменение классовых соотношений несло за собой не только разочарование, но и ставило вопрос о действии, о борьбе. Шульгин идет на соглашение с к.-д., он принимает энергичное участие в прогрессивном блоке „блоке национальной борьбы", как характеризует он его в одной из своих речей. Сплачиваясь с буржуазией, Шульгин не только создает и организует силы для защиты буржуазных позиций от разлагающегося самодержавия, но он, предвидя революцию и отдавши все свои силы борьбе с ней, он и здесь, накануне революции, думает о борьбе с ней, обнаруживая недурные таланты стратега. По мысли Шульгина, надо обезглавить революцию. Предвидя возможность получения власти буржуазией, прогрессивным блоком, Шульгин говорил Шингареву: „Чтобы удержаться, придется взять разгон... знаете, на яхте... когда идете, скажем, левым галсом, перед поворотом на правый галс надо взять еще левей, чтобы забрать ход... если власть на нас свалится, придется искать поддержки расширением прогрессивного блока налево"... И на вопрос Шингарева, как он себе это представляет, Шульгин говорит: „Я бы позвал Керенского... в качестве министра юстиции, допустим... Надо вырвать у революции ее главарей".

Этой тактической постановки вопроса Шульгин не забыл и в февральские дни. Когда людские волны заливали Таврический дворец, первой мыслью Шульгина были пулеметы. Но пулеметов у буржуазии в те дни не было, приходилось устраиваться без них. Буржуазия осталась один-

на-один с восставшим народом. Подойдя вплотную к власти и боясь революции, отрицая революцию, борясь с революцией, буржуазия всех оттенков принуждена была вести активную политику и вскрыть свое отношение к самодержавию. Попытка при первых раскатах революции столковаться с самодержавием и путем вырванных у него уступок вырвать почву из-под ног у революции, расслоить ее — буржуазии не удалась.

Шульгин присутствовал при отречении от престола Николая, а затем и Михаила. Буржуазия, в лице Родзянко и Шульгина, ставила вопрос об отречении, как тактическом мероприятии, развязывавшем им руки и усмиряющем революционную стихию. Само отречение являлось для нее актом не уничтожения, а сохранения монархии, собиранием сил на ее поддержку и защиту.

Все это показывает, насколько интересны воспоминания Шульгина. Но этот их исторический интерес выдвигает вопрос и об их исторической достоверности. „Дни" Шульгина не безыскусный рассказ, это не записки, набросанные в момент совершения события, это не просто воспоминания о пережитом — это, как указывает само название, как указывает содержание, — описание отдельных моментов — дней, — произведение с определенным планом, с продуманной конструкцией. „Дни" — это цельное, проникнутое одной мыслью, одним настроением, литературное произведение.

Шульгин не затушевывает в „Днях" своих классовых симпатий и чаяний. В „Днях" имеется описание событий так, как их понимал и воспринимал активный сторонник и защитник монархии Романовых. Это не умаляет, а увеличивает ценность „Дней" как исторического источника, но это заставляет еще более критически относиться к тому, что сообщает Шульгин. Здесь есть и ошибочность восприятия, об'яснимая классовой натурой Шульгина, здесь и ошибки умолчания, вызванные классовыми целями Шульгина. Но, если сравнить „Дни" с тем, что дают другие буржуазные мемуаристы, особенно в той части, где „Дни" говорят о последних днях самодержавия и о тогдашней тактике буржуазии, приходится признать, что Шульгин изображает события довольно верно.

Буржуазия излагает свою роль в февральские дни пером Родзянко („Государственная Дума и февральская 1917 года революция"), Шидловского („Воспоминания"), Ломоносова („Воспоминания о мартовской революции 1917 года"), Набокова („Временное Правительство"), Милюкова („История 2-й русской революции").

Сравнивая и оценивая показания Шульгина с показаниями других представителей буржуазии, приходится отметить, что изображение тогдашней роли буржуазии в „Днях“ Шульгина совпадает с тем, что дано другими буржуазными мемуаристами. Шульгин изображает ее ярче, образнее, резче, но и там и тут одно и то же. Буржуазия не желала революции, она боролась с ростом революционных настроений в стране, пытаясь в течение войны через Думу речами заговорить революцию, дать выход революционным настроениям, дотянуть до „победы“ на фронте.

Буржуазия встретила революцию враждебно и все свои силы употребила в февральские дни на то, чтобы уничтожить революцию, расслоить ее, вырвать из рук ее силу. Не имея в своих руках военной силы, она употребляла всю энергию на то, чтобы достать, приобрести, сорганизовать эту силу. Отсюда и активная борьба буржуазии за монархию. Шульгин присутствовал при целом ряде мало-освещенных у других мемуаристов событий. В изображении настроений, общего темпа, общего тонуса событий он совпадает с буржуазными мемуаристами, но он все же не забывает подчеркнуть, что пишет он, Шульгин, монархист, а его союзники, сейчас защищающие его линию, остаются тем, чем они были—Милюковыми.

Иногда память изменяет Шульгину, и он путает подробности и ход событий, иногда замалчивает их, не называя полностью имен, но неизменно сохраняя общий тон. В целом же Шульгин дает историку очень много. Здесь все, вплоть до фразеологии, законченно и цельно. Книга дает яркое представление о том, из кого состоял „старый режим“, что за люди были кровно связаны с ним, кто и как, какими приемами, каким образом боролся за него, и как понимали сторонники буржуазии борьбу за „него“. Записки Шульгина нельзя, невозможно пересказать. Их надо прочесть и перечесть, чтобы понять, как правы были те, кто провозглашал в период февральской революции — „никакой поддержки Временному Правительству“, кто в самом факте создания Временного Правительства видел открытое существование центра заговора буржуазии против революции и против рабочего класса. *С. Пионтковский.*

Автор записок—Шульгин, Вас. Витальевич, род. в 1878 году, дворянин, землевладелец деревни Курагины, Острожского уезда. Окончил Киевский университет по юридическому факультету. Сотрудник и издатель „Киевлянина“—черносотенной монархической газеты. Член II, III и IV Государственной Думы, монархист.

О Шульгине см. книжку Д. Заславского „Рыцарь черной сотни В. В. Шульгин“. Изд. „Былое“, Л-град, 1925 г.

Дни.

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забыть не в силах ничего...

А. Блок.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ.

В жизни каждого человека есть дни, которые следовало бы записать. Это такие «дни», которые могут представлять интерес не для него одного, а и для других.

Таких дней набралось некоторое число и в моей жизни. Так, по крайней мере, кажется мне, хотя я сознаю, что не легко угадать общий интерес из-за сбивающей сетки собственных переживаний. Если я ошибся, буду утешать себя тем, чем льстят себя все мемуаристы: плохие записки современников — хороши для потомков.

Автор.

Первый день «Конституции».

(18-ое октября 1905 года.)

Мы пили утренний чай. Ночью пришел ошарашивающий манифест. Газеты вышли с сенсационными заголовками: «Конституция».

Кроме обычных членов семьи, за чаем был еще один поручик. Он был начальником караула, поставленного в нашей усадьбе.

Караул стоял уже несколько дней. «Киевлянин»[1] шел резко против «освободительного движения»... Его редактор, профессор Дмитрий Иванович Пихно[2], принадлежал к тем немногим людям, которые сразу, по «альфе» (1905 г.) определили «омегу» (1917 г.) русской революции...

Резкая борьба «Киевлянина» с революцией удержала значительное число киевлян в контр-революционных чувствах. Но, с другой стороны, вызвала бешенство революционеров. В виду этого, по приказанию высшей военной власти, «Киевлянин» охранялся.

Поручик, начальник караула, который пил с нами чай, был очень взволнован.

— Конституция, конституция, — восклицал он беспомощно. — Вчера я знал, что мне делать... Ну, придут, — я их должен не пустить. Сначала уговорами, а потом, если не послушают, — оружием. Ну, а теперь? Теперь что? Можно ли при конституции стрелять? Существуют ли старые законы? Или, быть может, меня за это под суд отдадут?

Он нервно мешал сахар в стакане. Потом вдруг, как бы найдя решение, быстро допил.

— Разрешите встать...

И отвечая на свои мысли:

— А все-таки, если они придут и будут безобразить, — я не позволю. Что такое конституция, я не знаю, а вот гарнизонный устав знаю... Пусть приходят...

Поручик вышел. Д. И. (Пихно) нервно ходил по комнате. Потом заговорил, прерывая себя, задумываясь, опять принимаясь говорить.

— Безумие было так бросить этот манифест[3], без всякой подготовки, без всякого предупреждения... Сколько таких поручиков теперь, которые не знают, что делать... которые гадают, как им быть «при конституции»... этот нашел свой выход... Дай бог, чтобы это был прообраз... чтобы армия поняла...

— Но как им трудно, как им трудно будет... Как трудно будет всем. Офицерам, чиновникам, полиции, губернаторам и всем властям... Всегда такие акты подготовлялись... О них сообщалось заранее властям на места, и давались указания, как понимать и как действовать... А тут бухнули... Как молотом по голове... и разбирайся каждый молодец на свой образец.

— Будет каша, будет отчаянная каша... Там, в Петербурге, потеряли голову от страха... или ничего, ничего не понимают... Я буду телеграфировать Витте[4], это бог знает, что они делают. Они сами делают революцию. Революция делается от того, что в Петербурге трясутся. Один раз хорошенько прикрикнуть, и все станут на места... Это, ведь, все трусы, они только потому бунтуют, что их боятся. А если бы увидели твердость — сейчас спрячутся... Но в Петербурге не смеют, там сами боятся. Там настоящая причина революции,— боязнь, слабость...

— Теперь бухнули этот манифест. Конституция! Думают этим успокоить. Сумасшедшие люди! Разве можно успокоить явным выражением страха. Кого успокоить? Мечтательных конституционалистов. Эти и так на рожон не пойдут, а динамитчиков этим не успокоишь. Наоборот, теперь-то они и окрылятся, теперь-то они и поведут штурм.

— Я уже не говорю по существу. Дело сделано. Назад не вернешь. Но долго ли продержится Россия без самодержавия — кто знает. Выдержит ли «конституционная Россия» какое-нибудь грозное испытание... «За веру, Царя и Отечество» — умирали, и этим создалась Россия. Но, чтобы пошли умирать «за Государственную Думу» — вздор.

— Но это впереди... Теперь отбить штурм. Потому что будет штурм. Теперь-то они и полезут. Манифест, как керосином, их польет. И надежды теперь только на поручиков. Да, вот на таких поручиков, как наш. Если поручики поймут свой долг, — они отобьют...

— Но кто меня поражает, — это евреи. Безумные, совершенно безумные люди. Своими руками себе могилу роют... и спешат, торопятся — как бы не опоздать... Не понимают, что в России всякая революция пройдет по еврейским трупам. Не понимают... Не понимают, с чем играют. А ведь близко, близко...

* * *

В доме произошло какое-то тревожное движение. Все бросились к окнам.

Мы жили в одноэтажном особнячке, занимавшем угол Караваевской и Кузнечной. Из угловой комнаты было хорошо видно. Сверху по Караваевской, от университета, надвигалась толпа. Синие студенческие фуражки перемешивались со всякими иными.

— Смотрите, смотрите... У них красные... красные значки...

Действительно, почти у всех было нацеплено что-то красное. Были и какие-то красные флаги с надписями, на которых трепалось слово «д о л о й». Они все что-то кричали. Через закрытые окна из разинутых ртов вырывался рев, жуткий рев толпы.

— Ну, штурм начинается...

* * *

Рядом с нашим особнячком стоит трехэтажный дом; в нем помещалась редакция и типография. Там, перед этой дразнящей вывеской «Киевлянин», должно было разыграться что-нибудь. Я бросился туда через двор. Во дворе я столкнулся с нашим поручиком. Он кричал на бегу:

— Караул — вон!!..

Солдаты по этому крику выбегали из своего помещения. Выстроились.

— На пра... во! Шагом марш! За мной!

Он беглым шагом повел взвод через ворота, а я прошел напрямик, через вестибюль.

Два часовых, взяв ружья на перевес, охраняли входную дверь. Толпа ревела, подзуживаемая студентами... Часовые иногда оглядывались быстренько назад, сквозь стекло дверей, ожидая помощи. Толпа смелела, надвигалась, студенты были уже на тротуаре.

— Отойди, солдаты! теперь свобода, конституция.

Часовые, не опуская штыков, уговаривали ближайших.

— Говорят же вам, господа, нельзя сюда! Проходите! Если вам свобода, так идите себе дальше. Ах ты, господи, а еще и образованные!

Но «образованные» не слушали уговоров «несознательных». Им нужно было добраться до ненавистной редакции «Киевлянина».

Наступил момент, когда часовым нужно было или стрелять, или у них вырвут винтовки. Они побледнели и стали жаться к дверям.

В это время подоспел поручик. Обогнув угол, поручик расчищал себе дорогу с револьвером в руках.

Через мгновенье серый живой частокол, выстроившись у дверей, закрыл собой побледневших часовых.

— Назад! Осадите! Стрелять буду!

У поручика голос был звонкий и уверенный. Но студенты, как интеллигенты, не могли сдаться так просто...

— Господин офицер! Вы должны понимать! Теперь свобода! Теперь конституция!

— Конституция! Ура!

Электризуя самое себя, толпа ринулась...

Раздалась команда:

— По наступающей толпе — пальба — взводом!!!

Серый частокол выбросил левые ноги и винтовки вперед, и раздался характерный, не громкий, но ужасно четкий стук затворов...

* * *

Да, Д. И. был прав... Достаточно было строгого окрика, за которым «чувствуется твердая воля»...

Увидев, что с ними не шутят, толпа съежилась и, отругиваясь, осадила.

И в наступившей тишине раздалась негромкая команда, которую всегда почему-то произносят презрительным баском:

— Отставить!..

* * *

Я вышел пройтись. В городе творилось нечто небывалое. Кажется все, кто мог ходить, были на улицах. Во всяком случае, все евреи. Но их казалось еще больше, чем их было, благодаря их вызывающему поведению. Они не скрывали своего ликования. Толпа расцветилась на все краски. Откуда-то появились дамы и барышни в красных юбках. С ними соперничали красные банты, кокарды, перевязки. Все это кричало, галдело, перекрикивалось, перемигивалось.

Но и русских было много. Никто хорошенько ничего не понимал. Почти все надели красные розетки. Русская толпа в Киеве, в значительной мере по-старине монархическая, думала, что раз государь дал манифест, то, значит, так и надо, — значит, надо радоваться. Подозрителен был, конечно, красный маскарад. Но, ведь, теперь у нас конституция. Может быть, так и полагается.

Потоки людей со всех улиц имели направление на главную — на Крещатик. Здесь творилось нечто грандиозное.

Толпа затопила широкую улицу от края до края. Среди этого моря голов стояли какие-то огромные ящики, также уве-

шенные людьми. Я не сразу понял, что это остановившиеся трамваи. С крыш этих трамваев какие-то люди говорили речи, размахивая руками, но, за гулом толпы, ничего нельзя было разобрать. Они разевали рты, как рыбы, брошенные на песок. Все балконы и окна были полны народа.

С балконов также силились что-то выкричать, а из-под ног у них свешивались ковры, которые побагровее, и длинные красные полосы, очевидно, содранные с трехцветных национальных флагов.

Толпа была возбужденная, в общем, радостная, при чем радовалась—кто как: иные назойливо, другие «тихой радостью», а все вообще дурели и пьянели от собственного множества. В толпе очень гонялись за офицерами, силясь нацепить им красные розетки. Некоторые согласились, не понимая в чем дело, не зная, как быть, — раз «конституция». Тогда их хватали на руки, качали, несли на себе... Кое-где были видны беспомощные фигуры этих едущих на толпе...

Начиная от Николаевской, толпа стояла, как в церкви. Вокруг городской думы, залив площадь и прилегающие улицы, а особенно Институтскую, человеческая гуща еще более сгрудилась...

Старались расслышать ораторов, говоривших с думского балкона. Что они говорили, трудно было разобрать...

Несколько в стороне от думы неподвижно стояла какая-то часть в конном строю.

* * *

Я вернулся домой.

Там сцены, вроде утрешней, повторялись уже много раз. Много раз подходила толпа, вопила, угрожала, стремилась ворваться. Они требовали во имя чего-то, чтобы все газеты, а в особенности «Киевлянин», забастовали.

Но киевлянинские наборщики пока держались. Они нервничали, правда, да и нельзя было не нервничать, потому что этот рев толпы наводил жуть на душу. Что может быть ужаснее, страшнее, отвратительнее толпы? Из всех зверей она—зверь самый низкий и ужасный, ибо для глаза имеет тысячу человеческих голов, а на самом деле одно косматое, звериное сердце, жаждущее крови...

С киевлянинскими наборщиками у нас были своеобразные отношения. Многие из них работали на «Киевлянине» так долго, что стали как бы продолжением редакционной семьи. Д. И. был человек строгий, совершенно чуждый сентиментальностей, но очень добрый, — как-то справедливо, разумно добрый. Его всегда беспокоила мысль, что наборщики отравляются свин-

цом и, вообще, он находил, что это тяжелый труд. Поэтому киевлянинские наборщики ежегодно проводили один месяц у нас в имении, — на отдыхе. Повидимому, они это ценили. Как бы там ни было, но Д. И. твердо им объявил, что «Киевлянин» должен выйти во что бы то ни стало. И пока они держались — набирали...

* * *

Между тем, около городской думы атмосфера нагревалась. Речи ораторов становились все наглее по мере того, как выяснялось, что высшая власть в крае растерялась, не зная, что делать. Манифест застал ее врасплох, никаких указаний из Петербурга не было, а сами они боялись на что-нибудь решиться.

И вот с думского балкона стали смело призывать «к свержению» и к «восстанию». Некоторые из близстоящих начали уже понимать, к чему идет дело, но дальнейшие ничего не слышали и ничего не понимали. Революционеры приветствовали революционные лозунги, кричали «ура» и «долой», а огромная толпа, стоявшая вокруг, подхватывала...

Конная часть, что стояла несколько в стороне от думы, попрежнему присутствовала неподвижная и бездействующая.

Офицеры тоже еще ничего не понимали.

— Ведь, конституция!..

* * *

И вдруг многие поняли...

Случилось это случайно или нарочно, — никто никогда не узнал... Но во время разгара речей о «свержении» царская корона, укрепленная на думском балконе, вдруг сорвалась, или была сорвана, и на глазах у десятитысячной толпы грохнулась о грязную мостовую. Металл жалобно зазвенел о камни...

И толпа ахнула.

По ней зловещим шопотом пробежали слова:

— Жиды сбросили царскую корону...

* * *

Это многим раскрыло глаза. Некоторые стали уходить с площади. Но в догонку им бежали рассказы о том, что делается в самом здании думы.

А в думе делалось вот что.

Толпа, среди которой наиболее выделялись евреи, ворвалась в зал заседаний и в революционном неистовстве изорвала все царские портреты, висевшие в зале. Некоторым императорам выкалывали глаза, другим чинили всякие другие издевательства. Какой-то рыжий студент-еврей, пробив головой

портрет царствующего императора, носил на себе пробитое полотно, исступленно крича:

— Теперь я — царь!

* * *

Но конная часть в стороне от Думы все еще стояла неподвижная и безучастная. Офицеры все еще не поняли.

Но и они поняли, когда по ним открыли огонь из окон думы и с ее подъездов.

Тогда, наконец, до той поры неподвижные серые встрепенулись. Дав несколько залпов по зданию думы, они ринулись вперед.

Толпа в ужасе бежала. Все перепуталось — революционеры и мирные жители, русские и евреи. Все бежали в панике, и через полчаса Крещатик был очищен от всяких демонстраций. «Поручики», разбуженные выстрелами из летаргии, в которую погрузил их манифест с «конституцией», исполняли свои обязанности...

* * *

Приблизительно такие сцены разыгрались в некоторых других частях города. Все это можно свести в следующий бюллетень:

Утром: праздничное настроение — буйное у евреев, — по «высочайшему повелению» — у русских; войска — в недоумении.

Днем: революционные выступления: речи, призывы, символические действия, уничтожение царских портретов, войска — в бездействии.

К сумеркам: нападение революционеров на войска, пробуждение войск, залпы и бегство [5].

* * *

У нас, на Караваевской, с наступлением темноты стало жутче. Наборщики еще набирали, но очень тряслись. Они делали теперь так: тушили электричество, когда подходила толпа, и высылали сказать, что работа прекращена. Когда толпа уходила, они зажигали снова и работали до нового нашествия. Но становилось все трудней.

* * *

Я время от времени выходил на улицу. Было темно, тепло и влажно. Как будто улицы опустели, но чувствовался больной, встревоженный пульс города.

* * *

Однажды, когда я вернулся, меня встретила во дворе группа наборщиков.

Они, видимо, были взволнованы. Я понял, что они только что вышли от Д. И.

— Невозможно, Василий Витальевич, мы бы сами хотели, да никак. Эти проклятые у нас были.

— Кто?

— Да от забастовщиков, от «комитета». Грозятся: «Вы тут под охраной работаете, так мы ваши семьи вырежем»! Ну, что же тут делать?! Мы сказали Дмитрию Ивановичу: хотим работать и никаких этих «требований» не предъявляем, — но боимся...

— А он что?

— А он так нам сказал, что, верите, Василий Витальевич, сердце перевернулось. Никаких сердитых слов, а только сказал: «Прошу вас не для себя, а для вас самих и для России... Нельзя уступать!.. Если им сейчас уступить, они все погубят, и будете сами без куска хлеба, и Россия будет такая же!.. И правда, так будет... И знаем и понимаем... Но не смеем,— боимся... за семьи... Что делать?..

Мне странно было видеть эти с детства совершенно по иному знакомые лица такими разволнованными и такими душевными.

Все они толпились вокруг меня в полутьме плохо освещенного двора и рассказывали мне перебивающимися голосами. Я понял, что эти люди искренно хотели бы «не уступить», но... страшно...

И вправду, есть ли что-нибудь страшнее толпы?..

* * *

Они ушли двое осталось. Это был Ш...о и еще другой, — самые старые наборщики «Киевлянина».

Ш...о схватил меня за руки.

— Василий Витальевич! Мы наберем!.. Вот нас двое... Один лист наберем — две страницы... Ведь тут не то важно, чтоб много, а чтоб не уступить... И чтобы статья Дмитрия Ивановича вышла... Мы все знаем, все понимаем...

Он тряс мне руки.

— Сорок лет я над этими станками работал — пусть над ними и кровь пролью... Василий Витальевич, дайте рублик... на водку!.. Не обижайтесь — для храбрости... Страшно!.. Пусть кровь пролью — наберу «Киевлянин»...

Он был уже чуточку пьян и заплакал. Я поцеловал старика и сунул ему деньги. Он побежал в темноту улицы за водкой...

* * *

— Ваше благородие! Опять идут.

Это было уже много раз в этот день.

— Караул, — вон! — крикнул поручик.

Взвод строился. Но в это время солдат прибежал вторично.

— Ваше благородие! Это какие-то другие.

Я прошел через вестибюль. Часовой разговаривал с какой-то группой людей. Их было человек тридцать. Я вошел в кучку.

— Что вы хотите, господа?

Они стали говорить все вместе.

— Господин офицер... Мы желали... мы хотели... редактора «Киевлянина»... профессора... то-есть господина Пихно... мы к нему... да... потому что... господин офицер... разве так возможно?! что они делают!.. какое они имеют право?!. корону сбросили... портреты царские порвали... как они смеют!.. мы хотели сказать профессору...

— Вы хотели его видеть??.

— Да, да... Господин офицер... нас много шло... сотни, тысячи... Нас полиция не пустила... А так как мы, то-есть, не против полиции, так мы вот разбились на кучки... вот нам сказали, чтобы мы непременно дошли до «Киевлянина», чтобы рассказать профессору... Дмитрию Ивановичу...

Д. И. был в этот день страшно утомлен. Его целый день терзали. Нельзя перечислить, сколько народа перебывало в нашем маленьком особнячке. Все это жалось к нему, ничего не понимая в происходящем, требуя указаний, объяснений, совета и поддержки. Он давал эту поддержку, не считая своих сил. Но я чувствовал, что и этим людям отказать нельзя. Мы были на переломе. Эти пробившиеся сюда, — это пена обратной волны...

— Вот что... всем нельзя. Выберите четырех... Я провожу вас к редактору.

* * *

В вестибюле редакции.

— Я редактор «Киевлянина». Что вам угодно?

Их было четверо: три в манишках и в ботинках, четвертый в блузе и сапогах.

— Мы вот... вот я, например, парикмахер... а вот они...

— Я — чиновник: служу в акцизе... по канцелярии.

— А я — торговец... Бакалейную лавку имею... А это — рабочий.

— Да, я — рабочий... Слесарь... эти жиды св...

— Подождите, — перебил его парикмахер, — так вот мы, г. редактор, — люди, так сказать, разные, т.-е. разных занятий...

— Ваши подписчики, — сказал чиновник.

— Спасибо вам, г. редактор, что пишете правду, — вдруг, взволновавшись, сказал лавочник.

— А почему?.. Потому, что не жидовская ваша газета, — пробасил слесарь.

— Подождите, — остановил его парикмахер, — мы, так сказать, т.-е., нам сказали: «Идите к редактору «Киевлянина», господину профессору, и скажите ему, что мы так не можем, что мы так несогласны... что мы так не позволим...

— Какое они имеют право! — вдруг страшно рассердился лавочник. — Ты красной тряпке поклоняешься, — ну и чорт с тобой! А я трехцветной поклоняюсь. И отцы мои и деды поклонялись. Какое ты имеешь право мне запрещать?..

— Бей жидов, — зазвенел рабочий, как будто ударил молотом по наковальне.

— Подождите, — еще раз остановил парикмахер, — мы пришли, так сказать, чтобы тоже... Нет, бить не надо, — обратился он к рабочему. — Нет, не бить, а, так сказать, мирно. Но, чтобы всем показать, что мы, так сказать, не хотим... так не согласны... так не позволим...

— Господин редактор, — мы хотим тоже, как они, демонстрацию, манифестацию... Только они с красными, а мы с трехцветными...

— Возьмем портрет государя-императора и пойдем по всему городу... Вот что мы хотим... — заговорил лавочник. — Отслужим молебен и крестным ходом пойдем...

— Они с красными флагами, а мы с хоругвями...

— Они портреты царские рвут, а мы их, так сказать, всенародно восстановим...

— Корону сорвали — загудел рабочий. — Бей их, бей жидову, сволочь проклятую!..

— Вот что мы хотим... за этим шли... чтобы узнать... хорошо ли?.. Ваше, так сказать, согласие...

Все четверо замолчали, ожидая ответа. По хорошо мне знакомому лицу Д. И. я видел, что с ним происходит. Это лицо, такое в обычное время незначительное, теперь... серые, добрые глаза из-под сильных бровей и эта глубокая складка воли между ними.

— Вот что я вам скажу... Вам больно, вас жжет?.. И меня жжет. Может быть больнее, чем вас... Но есть больше того, чем то, что у нас с вами болит... Есть Россия...

Думать надо только об одном: как ей помочь... Как помочь этому государю, против которого они повели штурм... Как ему помочь? Ему помочь можно только одним: поддержать власти, им поставленные. Поддержать этого генерал-губернатора, полицию, войска, офицеров, армию... Как же их поддержать? Только одним: соблюдайте порядок. Вы хотите «по примеру их» манифестацию, патриотическую манифестацию... Очень хорошие чувства ваши, святые чувства, — только одно плохо, — что «по примеру их», вы хотите это делать. Какой же их пример? Начали с манифестации, а кончили залпами. Так и вы кончите... Начнете крестным ходом, а кончите такими делами, что по вас же властям стрелять придется... И не в помощь вы будете, а еще страшно затрудните положение власти .. потому что придется властям на два фронта, на две стороны бороться... И с ними и с вами. Если хотите помочь, есть только один способ, один только.

— Какой, какой? Скажите. Затем и шли...

— Способ простой, хотя и трудный: «все по местам». Все по местам. Вот вы парикмахер—за бритву. Вы торговец—за прилавок. Вы чиновник—на службу. Вы рабочий—за молот. Не жидов бить, а молотом — по наковальне. Вы должны стать «за труд», за ежедневный честный труд, — против манифестации и против забастовки. Если мы хотим помочь власти, дадим ей исполнить свой долг. Это ее долг усмирить бунтовщиков. И власть это сделает, если мы от нее отхлынем, потому что их на самом деле немного. И они хоть наглецы, но подлые трусы...

— Правильно, — заключил рабочий: — Бей их, сволочь паршивую!!!

* * *

Они ушли, снаружи, как будто, согласившись, но внутри неудовлетворенные. Когда дверь закрылась, Д. И. как-то съежился, потом махнул рукой, и в глазах его было выражение, с которым смотрят на нечто неизбежное:

— Будет погром...

* * *

Через полчаса из разных полицейских участков позвонили в редакцию, что начался еврейский погром.

Один очевидец рассказывает, как это было в одном месте:

Из бани гурьбой вышли баньщики. Один из них взлез на телефонный столб. Сейчас же около собралась толпа. Тогда тот со столба начал кричать:

— Жиды царскую корону сбросили!.. Какое они имеют право? Что же, так им и позволим? Так и оставим? Нет, братцы, врешь!

Он слез со столба, выхватил у первого попавшегося человека палку, перекрестился и, размахнувшись, со всей силы бахнул в ближайшую зеркальную витрину. Стекла посыпались, толпа заулюлюкала и бросилась сквозь разбитое стекло в магазин...

И пошло...

* * *

Так кончился первый день «конституции»...

Второй день «Конституции».

19 октября 1905 года «Киевлянин» все-таки вышел. Старый наборщик выполнил свое обещание и набрал две страницы. Больше в Киеве не вышло ни одной газеты. Все они ознаменовали нарождение нового политического строя тем, что сами себе заткнули рот. Впрочем, если не ошибаюсь, это же произошло во всех других городах России.

* * *

Еще в сентябре я был призван (по последней мобилизации) в качестве «прапорщика запаса полевых инженерных войск». Но на войну я не попал, так как «граф полусахалинский», как в насмешку называли Сергея Юльевича Витте (он отдал японцам пол-Сахалина), заключил мир [6]. Но домой меня пока не отпускали. И я служил младшим офицером в 14 саперном батальоне в Киеве. Накануне у меня был «выходной день», но 19 октября я должен был явиться в казармы [7].

* * *

— Рота напра...во!!!

Длинный ряд серых истуканчиков сделал — «раз», то-есть каждый повернулся на правой ноге, и сделал — «два», то-есть каждый пристукнул левой. От этого все стали друг другу «в затылок».

— Шагом!..— закричал ротный протяжно... И тихонько— фельдфебелю:

— Обед пришлешь в походной кухне.

— Слушаю, ваше высокоблагородие.

— Маррш!!! — рявкнул ротный, точно во рту у него лопнул какой-то сильно напряженный шар, рассыпавший во все стороны энергическое «рр».

Истуканчики твердо, «всей левой ступней», приладонили пол, делая первый шаг... И затем мерно закачались, двумя серыми змейками выливаясь через открытые двери казармы.

* * *

— Куда мы идем?

— На Демиевку.

Демиевка — это предместье Киева. Ротный, в свою очередь, спросил:

— Не знаете, что там? Беспорядки?

Я ответил тихонько, потому что знал:

— Еврейский погром.

— Ах, погром...

По его лицу прошло что-то неуловимое, что я, тем не менее, очень хорошо уловил...

* * *

— Возьмите четвертый взвод и идите с этим... с надзирателем. Ну, и там действуйте... — приказал мне ротный.

Кажется, первый раз в жизни мне приходилось «действовать»...

— Четвертый взвод, слушай мою команду! Шагом... Марш!.

Я с удивлением слушал свой голос. Я старался рассыпать «рр», как ротный, но ничего не вышло. А, впрочем, ничего. Они послушались — это самое главное.

Пошли. Полицейский надзиратель ведет...

* * *

Грязь. Маленькие домишки. Беднота. Кривые улицы. Но пока — ничего. Где-то, что-то кричат. Толпа... Да. Но где?

Здесь тихо. Людей мало. Как будто, даже слишком мало. Это что?

Да — там в переулке. Я подошел ближе.

Старый еврей, в полосатом белье, лежал, раскинув руки, на спине. Иногда он судорожно поводил ногами.

Надзиратель наклонился.

— Кончается...

Я смотрел на него, не зная, что делать.

— Отчего его убили?

— Стрелял, должно быть... Тут только тех убивали, что стреляли...

— Разве они стреляют?

— Стреляют... «Самооборона»...

Не зная, что делать, я поставил на этом перекрестке четырех человек. Дал им приказание в случае чего бежать за помощью. Пересчитал остальных. У меня осталось тринадцать... Немного...

Мы пошли дальше и за одним поворотом наткнулись...

* * *

Это была улица, по которой прошелся «погром».

— Что это? Почему она белая?..

— Пух... Пух из перин, — объяснял надзиратель.

— Без зимы снег! — сострил кто-то из солдат.

Страшная улица... Обезображенные жалкие еврейские халупы... Все окна выбиты... Местами выбиты и рамы... Точно ослепшие, все эти грязные лачуги. Между ними, безглазыми, в пуху и в грязи — вся жалкая рухлядь этих домов, перекалеченная, переломанная... Нелепо раскарячившийся стол, шкаф с проломанным днищем, словно желтая рана, комод с вываливающимися внутренностями... Стулья, диваны, матрацы, кровати, занавески, тряпье... полувдавленные в грязь разбитые тарелки, полуразломанные лампы, осколки посуды, остатки жалких картин, смятые стенные часы — все, что было в этих хибарках, искромсанное, затоптанное ногами... Но страшнее всего эти слепые дома. Они все же смотрят своими безглазыми впадинами, — таращат их на весь этот нелепый и убогий ужас...

* * *

Мы прошли эту улицу. Это что?

Двухэтажный, каменный дом. Он весь набит кишащим народом. Вся лестница полна, и сквозь открытые окна видно, что толпа залила все квартиры.

Я перестроил людей и во главе двух серых струек втиснулся в дом... И все совершилось невероятно быстро. Несколько ударов прикладами — и нижний этаж очищен. Во втором этаже произошла паника. Некоторые, в ужасе перед вдруг с неба свалившимися солдатами, бросаются в окна. Остальные мгновенно очищают помещение. Вот уже больше никого. Только в одной комнате солдат бьет какого-то упрямящегося человека. Ко мне бросается откуда-то взявшаяся еврейка:

— Ваше благородие, что вы делаете! это же наш спаситель...

Я останавливаю солдата. Еврейка причитает:

— Это же наш дворник... Он же наш единственный защитник...

Passage...

* * *

Этот дом выходил на очень большую площадь. В окна я увидел, что там собралась толпа, — не менее тысячи человек. Я сошел вниз и занял выжидательную позицию.

Площадь была так велика, что эта большая толпа занимала только кусочек ее. Они стояли поодаль и, видимо, инте-

ресовались нами. Но не проявляли никаких враждебных действий или поползновений грабить. Стоят. Тем не менее, я решил их «разогнать»: пока я здесь, они — ничего, как только уйду — бросятся на дома. Иначе — для чего им тут стоять.

Я развернул взвод фронтом и пошел на них. В эту минуту я вдруг почувствовал, что мои люди совершенно в моей власти. Мне вовсе не нужно было вспоминать «уставные команды», они понимали каждое указание руки. Когда это случилось, — ни они, ни я не заметили, но они вдруг сделались «продолжением моих пальцев», — что-ли. Это незнакомое до сих пор ощущение наполняло меня какой-то бодростью.

Подходя к толпе, я на ходу приказал им «разойтись». Они не шевельнулись.

— На руку...

Взвод взял штыки на перевес. Толпа побежала.

Побежала с криком, визгом и смехом. Среди них было много женщин — хохлушек и мещанок предместья.

Они оборачивались на бегу и смеялись нам в лицо.

— Господин офицер, — зачем вы нас гоните?!. Мы ведь — за вас.

— Мы—за вас, ваше благородие. Ей богу, — за вас!..

Я посмотрел на своих солдат. Они делали страшные лица и шли с винтовками на перевес, но дело было ясно:

Эта толпа — «за нас», а мы — «за них»...

* * *

Я провозился здесь довольно долго. Только я их разгоню — как через несколько минут они соберутся у того края пустыря. В конце концов, это обращалось в какую-то игру. Им положительно нравились эти маневры горсточки солдат, — покорных каждому моему движению. При нашем приближении поднимался хохот, визг, заигрывание с солдатами и аффектированное бегство. Ясно, что они нас нисколько не боятся. Чтобы внушить им, что с ними не шутят, надо было бы побить их или выпалить...

Но это невозможно. За что?.. Они ничего не делали. Никаких поползновений к грабежу. Наоборот, демонстративное подчинение моему приказанию «разойтись». Правда, разбегаются, чтобы собраться опять...

Запыхавшись, я, наконец, понял, что гоняться за ними глупо. Надо занять выжидательную позицию.

* * *

Мы стоим около какого-то дома. Я рассматриваю эту толпу. Кроме женщин, которых, должно быть, половина, тут самые разнообразные элементы: русское население предместья

и крестьяне пригородных деревень. Рабочие, лавочники-бакалейщики, мастеровые, мелкие чиновники, кондуктора трамваев, железнодорожники, дворники, хохлы разного рода, — все, что угодно.

Понемногу они пододвигаются ближе. Некоторые совсем подошли и пытаются вступить в разговор. Кто-то просил разрешенья угостить солдат папиросами. Другие принесли белого хлеба. Да, положительно, эти люди — «за нас». Они это всячески подчеркивают и трогательно выражают. И этому дыханию толпы трудно не поддаваться.

Ведь идет грозная борьба, борьба не на жизнь, а на смерть. Вчера начался штурм исторической России. Сегодня... сегодня это ее ответ. Это ответ русского простонародного Киева, — Киева, сразу по «альфе» понявшего «омегу»... Этот ответ принял безобразные формы еврейского погрома, но ведь рвать на клочки царские портреты было тоже не очень красиво... А ведь народ только и говорил об этом... Только и на языке:

— Жиды сбросили царскую корону.

И они очень чувствовали, что войска, армия, солдаты, и в особенности офицеры, неразрывно связаны с этой царской короной, оскорбленной и сброшенной. И поэтому-то и словами и без слов они стремились выразить:

— Мы за вас, мы — за вас...

* * *

Пришел полицейский надзиратель и сказал, что на такой-то улице идет «свежий» погром, и что туда надо спешить.

Мы сначала сорвались бегом, но выходились на каком-то глинистом подъеме. В это время из-за угла на нас хлынул поток людей.

Это была как бы огромная толпа носильщиков. Они тащили на себе все, что может вмещать человеческое жилье... Некоторые, в особенности женщины, успели сделать огромные узлы. Но это были не погромщики. Это была толпа, такая же, как там на площади, толпа пассивная, «присоединяющаяся»...

Я понял, что нам нужно спешить туда, где громят. Но, вместе с тем, я не мог же хладнокровно видеть эти подлые узлы.

— Бросить сейчас!

Мужчины покорно бросали. Женщины пробовали протестовать. Я приказал людям на ходу отбирать награбленное. А сам спешил вперед, чувствуя, что там нужно быть. Оттуда доносились временами дикое и жуткое улюлюканье, глухие удары и жалобный звон стекла.

Вдруг я почувствовал, что солдаты от меня отстали. Обернулся.

Боже мой!

Они шли нагруженные, как верблюды. Чего на них только не было! Мне особенно бросились в глаза: самовар, сулея наливки, мешок с мукой, огромная люстра, половая щетка.

— Да бросьте, чорт вас возьми!

* * *

Вот разгромленная улица. Это отсюда поток людей. Сквозь разбитые окна видно, как они там грабят, тащат, срывают... Я хотел было заняться выбрасыванием их из домов, но вдруг как-то сразу понял «механизм погрома»...

Это не они, — не эти. Эти только тащат... Там дальше, там должна быть «голова погрома», — те, кто бросается на целые еще дома. Там надо остановить. Здесь уже все кончено...

* * *

Вот...

Их было человек тридцать. Взрослые (повидимому рабочие) и мальчишки-подростки... Все они были вооружены какими-то палками. Когда я их увидел, они только что атаковали «свежий дом»—какую-то одноэтажную лачугу. Они сразу подбежали было к дому, но потом отступили на три — четыре шага... Отступили с особенной ухваткой, которая бывает у профессиональных мордобоев, когда они собираются «здорово» дать в ухо... И действительно, изловчившись и взявши разбег, они изо всех сил, со всего размаха «вдарили» в окна... Точно дали несчастной халупе ужасающе звонкую оплеуху... От этих страшных пощечин разлетелись на куски оконные рамы... А стекла звоном зазвенели, брызнув во все стороны. Хибарка сразу ослепла на все глаза, толпа за моей спиной взвыла и заулюлюкала, а банда громил бросилась на соседнюю лачугу.

* * *

Тут мы их настигли... Я схватил какого-то мальчишку за шиворот, но он так ловко покатился кубарем, что выскользнул у меня из рук... Другого солдат сильно ударил прикладом в спину между лопатками... Он как-то вроде как бы икнул, — грудью вперед... Я думал, что он свалится... но он справился и убежал... Несколько других эпизодов, таких же, произошло одновременно... Удары прикладами, не знаю уж, действительные или симулированные, — и бегство...

И все...

* * *

Мы на каком-то углу. Влево от меня разгромленная улица, которую мы только что прошли, вправо — целая, которую мы «спасли». Погром прекратился... Громилы убежали, оставив

несколько штук своего оружия, которое мне показалось палками... На самом деле это были куски железных, должно быть, водопроводных труб.

Толпа же, сама по себе, без «инициативной группы», не способна грабить. В нашем присутствии она даже не пробует громить.. Евреев не видно совсем. Они или перебежали в соседний квартал, или прячутся где-то здесь — в русских домах... Но их не видно.. Не видно ни убитых, ни раненых. Нет их, повидимому, и в разбитых домах. У меня такое впечатление, что здесь обошлось без человеческих жертв. Мне вспоминаются слова полицейского надзирателя:

— Убивают тех, кто стреляет...

* * *

Толпа собирается вокруг нас, жмется к нам. Чего им нужно?

Им хочется поговорить. У них какое-то желание оправдаться, объяснить, почему они это делают, — если не громят, то грабят, если не грабят, то допускают грабить... И они заговаривают на все лады...

И все одно и то же...

— Жиды сбросили корону, жиды порвали царские портреты, как они смеют, мы не желаем, мы не позволим!..

И они горячились, и они накалялись.

Вокруг меня толпа сомкнулась. Она запрудила перекресток с четырех сторон... Тогда я взлез на тумбу и сказал им речь. Едва ли это не была моя первая политическая речь. Вокруг меня было русское простонародье, глубоко оскорбленное... Их чувства были мне понятны... но их действия были мне отвратительны. Так я и сказал:

— Вчера в городской думе жиды порвали царские портреты... За это мы в них стреляли... Мы — армия... И если это еще когда-нибудь случится, — опять стрелять будем. И не вы им «не позволите», а мы не позволим. Потому что для того мы и состоим на службе у его императорского величества... чтобы честь государя и государства русского защищать. И этой нашей службы мы никому, кроме себя, исполнять не позволим. И вам не позволим... Это наше дело, а не ваше. А почему? А потому, хотя бы, что вы и разобрать толком не можете и зря, неправильно, несправедливо, незаслуженно поступаете. Кого бьете, кого громите?.. Тех разве, кто царские портреты порвал вчера в думе? Нет — это мы по ним стреляли, а вы даже знать не ведали, когда вчера дело было... А вот теперь, сегодня, задним числом разыгрались. И кого же бьете? Вот этих ваших жидков демиевских, что в этих халупах паршивых

живут? Янкеля или Мошку, что керосином торгуют на рубль в день, — что же, он портреты царские рвал, — он, да?.. Или жена его, Хайка, — она корону сбросила?

В толпе произошло движение. В задних рядах кто-то сказал:

— Это правильно их благородие говорит.

Я воспользовался этим.

— Ну, так вот... И говорю вам еще раз: вчера мы в жидов стреляли за дело, а сегодня... сегодня вы хотите царским именем прикрыться и ради царя вот то делать, что вы делаете... Ради царя хотите узлы чужим добром набивать!.. Возьмете портреты и пойдете, — впереди царь, а за царем — грабители и воры... Этого хотите?.. Так вот заявляю вам: видит бог, запалю в вас, если не прекратите гадости...

Опять сильное движение в толпе. Вдруг как-бы что-то прорвало. Какой-то сильный рыжий мужчина без шапки, с голыми руками и в белом фартуке закричал:

— Ваше благородие. Да мы их не трогаем! У нас, вот, смотрите, руки голые!

Он тряс в воздухе своими голыми руками.

— А они зачем в нас стреляют с револьверов?

— Верно, правильно,—подхватили в разных местах.—Зачем они в нас стреляют?

Я хотел что-то возразить и поднял руку.

На мгновенье опять стало тихо... Но вдруг, как будто в подтверждение, в наступившую тишину резко ворвался треск браунинга.

Толпа вз'елась.

— А что!.. Вот вам.. Ваше благородие, это что же?!. Вы говорите...

Я хотел что-то прокричать, но звонкий тенор в задних рядах зазвенел, покрывая все:

— Бей их, жидову сволочь, проклятую...

И к небу взмылось дикое, улюлюкающее:

— Бей!!!

Толпа ринулась по направлению выстрела. Рассуждать было некогда.

— Взвод, ко мне!!!

* * *

Мне удалось все же опередить толпу. Теперь мы двигались так:

Передо мною была узкая кривая уличка. За моей спиной цепочка взвода, от стенки до стенки... За солдатами сплошная масса толпы, сдерживаемая каемкой тринадцати серых шинелей.

Впереди раздалось несколько выстрелов. Толпа взвыла.

Я велел зарядить винтовки. Люди волновались, и дело не ладилось. Наконец, справились. Двинулись дальше. Завернули за угол. Это что?..

* * *

Уличка выводила на небольшую площадь. И вот из двухэтажного дома, напротив, выбежало шесть или семь фигур,— еврейские мальчишки не старше двадцати лет... Выстроились в ряд. Что они будут делать... В то же мгновенье я понял: они выхватили револьверы, и нелепые и дрожащие дали залп по мне и по моим солдатам... Выстрелили и убежали.

Я успел охватить взглядом цепочку и убедиться, что никто не ранен. Но вслед за этим произошло нечто необычайно быстрое... Толпа, которая была за моей спиной, убежала другим переулком, очутилась как-то сбоку и впереди меня — словом на свободе, и бросилась по направлению к злосчастному двухэтажному дому...

* * *

— Взвод, ко мне!..

Я успел добежать до дома раньше толпы и стоял спиной к нему, раскинувши руки. Это был жест — приказ, по которому взвод очень быстро выстроился за мной. Толпа остановилась.

В это время — выстрелы с верхнего этажа.

— Ваше благородие — в спину стреляют.

Я сообразил, что надо что-то сделать.

— Вторая шеренга, кругом...

Шесть серых повернулось. Но толпа пришла в бешенство от выстрелов и, видя перед собой только семь солдат (первая шеренга), подавала все признаки, что сейчас выйдет из повиновения.

— Стреляют, сволочь... Как они смеют?.. У нас руки голые... Бей их, бей жидову! Трам-тарарам их перетрам-тарарам...

Они завыли и заулюлюкали так, что стало жутко. И бросились.

Я решился на последнее:

— По наступающей толпе... и по дому... пальба... взводом!!!

Серые выбросили левые ноги и винтовки вперед, и взвод ощетинился штыками в обе стороны, приготовившись...

Наступила критическая минута. Если бы они двинулись, я бы запалил. Непонятным образом они это поняли.

И остановились.

Я воспользовался этим и прокричал:

— Если вы мне обещаете, что не тронетесь с места, я войду в дом и арестую того, кто стрелял. А если двинетесь, палить буду.

Среди них произошел какой-то летучий обмен, и выделилась новая фигура, я его не видел раньше.

Это был, что называется «босяк», — одна нога в туфле, другая в калоше. Он подошел ко мне, приложил руку к сломанному козырьку и с совершенно непередаваемой ухваткой доложил:

— Так что мы, ваше благородие, увсе согласны.

«Согласие народа», выраженное через «босяка», меня устраивало, но не совсем. Я пойду «арестовать», кого я оставлю здесь? Как только я уйду, — они бросятся.

В это время на мое счастие я увидел далеко, в конце улицы, движение серых шинелей. Я узнал офицера. Это был другой взвод нашей роты. Я подозвал их, попросил встать на мое место около дома. Сам же со своим взводом обошел угол, так как ворота были с другой стороны.

Но ворота оказались на запоре. Пришлось ломать замок. Замок был основательный, и дело не клеилось.

* * *

Боже мой! Это что такое!?

Какая-то новая, несравненно более многочисленная, словом, огромная толпа залила выходившие сюда улицы. Это, очевидно, из города. Та демонстрация, о которой вчера говорилось. Да, да... Патриотическая манифестация.

Хоругви, кресты... Затем торжественно несомые на груди портреты государя, государыни, наследника... Важное, как бы церковное, шествие... Вроде как крестный ход. Поют? Да — гимн.

— Взвод, смирно!!! Слушай — на караул!!!

Процессия медленно протекает, сопутствуемая огромными толпами. Гимн сменяется — «Спаси Господи». Прошли.

Мы должны продолжать свое дело. Наша толпа, демиевская, сначала совершенно затопленная процессией, теперь отсеялась. Она осталась и ждет финала — ареста «тех, кто стрелял».

Я приказываю:

— Ломай замок.

Но солдаты не умеют. В это время подходит фигура, кажется, тот самый, который докладывал, что они «увсе согласны».

— Дозвольте мне, ваше благородие.

В руках у него маленький ломик. Замок взлетает сразу...

* * *

Во внутренности двора, сбившись в кучу, смертельно бледные, прижались друг к другу, кучка евреев. Их было человек сорок: несколько подозрительных мальчишек, остальные старики, женщины, дети...

— Кто тут стрелял?

Они ответили перебивающим хором:

— Их нема... они вже убегли...

Старик, седой, трясущийся, говорил, подымая дрожащие, худые руки.

— Ваше благородие... Те, что стрелили, их вже нет... Они убегли... Стрелили и убегли... Мальчишки... Стрелили и убегли...

Я почувствовал, что он говорит правду. Но сказал сурово:

— Я обыщу вас... Отдайте револьверы.

Солдаты пощупали некоторых. Конечно, у них не было револьверов. Но мое положение было плохо.

Там, за стеной, — огромная толпа, которая ждет «правосудия». И для ее успокоения, и для авторитета войск, и для спасения и этих евреев и многих других весьма важно, чтобы «стрелявшие» были арестованы. Как быть? Внезапно я решился...

— Из этого дома стреляли. Я арестую десять человек. Выберите сами...

Получился неожиданный ответ:

— Ваше благородие... арестуйте нас всех... просим вас — сделайте милость, — всех, всех заберите...

Я понял. За стеной ждет толпа. Ее рев минутами переплескивает сюда. Что может быть страшнее толпы? Не в тысячу ли раз лучше под защитой штыков, хотя бы и в качестве арестованных?

Я приказываю все-таки выбрать десять и вывожу их, окруженных кольцом серых. Дикое улюлюканье встречает наше появление. Но никаких попыток отбить или вырвать. — Чувство «правосудия» удовлетворено. Они довольны, что офицер исполнил свое обещание. Я пишу записку: «Арестованы в доме, из которого стреляли». С этой запиской отправляю их в участок под охраной половины взвода. (Они были доставлены благополучно — я получил записку из полиции; дальнейшая судьба: через два дня выпущены на свободу. На это я и рассчитывал).

* * *

Желтые звуки трубы режут воздух. Трубят общий сбор. Мы бросились на эти сигналы. Что это?

Грабят базар...

* * *

На базар обрушилась многотысячная толпа. Когда мы прибежали, в сущности все было кончено. Мы вытеснили толпу с базара, но рундуки были уже разграблены, все захвачено, перебито. Больше всего было женщин. Они тащили, со смехом, шутками и визгом. Иные, сорвав с себя платки, вязали огромные узлы.

— Брось, бесстыжая...

Она улыбалась мне виноватой улыбкой:

— Ваше благородие, пропадет ведь...

Запалить бы в них надо по-настоящему, но не хватает духу Психологически это невозможно.

* * *

Не помню уже, как в третьем часу дня ко мне собралась вся рота. Куда девались остальные офицеры, — не знаю. Зато появился понтонный капитан с ротой понтонеров. Наш фельдфебель разыскал нас, и теперь мы все обедали, усевшись среди разбитых рундуков.

Пошел дождик, чуть темнело. Подошел фельдфебель.

— Ваше благородие. Тут народ стал болтать.

У него сделалось таинственное лицо.

— Ну что?

— Насчет Голосеевского леса...

— Ну?..

— Что там, то-есть, как бы неблагополучно...

— Что такое?..

— Жиды, ваше благородие...

— Какие жиды?

— Всякие, с города... С браунингами и бомбами... Десять тысяч их там. Ночью прийдут сюда.

— Зачем?

— Русских резать...

— Какой вздор!..

— Так точно — вздор, ваше благородие.

Но по его глазам я вижу, что он этого не думает.

* * *

Я должен был бы послать донесение об этом в батальон. Но я не послал, не желая попадать в дурацкое положение. Я только поставил пост, на краю предместья, на всякий случай. Но сенсационное известие каким-то путем добежало и, повидимому, в самые высокие сферы.

* * *

Вечерело... Я стоял на обезлюдевшей улице. Все куда-то попряталось. Где же все эти толпы? Новая какая-то жуть нависла над предместьем.

Из города приближается кавалерийский раз'езд. Во главе вахмистр. Я подзываю его:

— Куда?

— В Голосеевский лес, ваше благородие.

— Что там?

— Жиды, ваше благородие...

Значит, уже знали где-то там. Прислали кавалерийский раз'езд. Ну, и прекрасно.

— Ну, езжай...

Прошло несколько минут. Оттуда же появляется опять кавалерия. Но уже больше: пол-эскадрона, должно быть. Во главе корнет.

— Позвольте вас спросить, куда вы?

Он остановил лошадь и посмотрел на меня сверху вниз:

— В Голосеевский лес.

— А что там такое?

— Там... Жиды...

Он сказал это таким тоном, как будто было даже странно с моей стороны это спрашивать. Что может быть в Голосеевском лесу?

— И много?..

Он ответил стальным тоном:

— Восемь тысяч...

И тронул лошадь.

Через несколько минут — опять группа всадников, то-есть собственно только двое. Первый — полковник, — другой, очевидно, адьютант. Полковник подзывает меня:

— Какие у вас сведения о Голосеевском лесе?

— Кроме непроверенных слухов — никаких...

Полковник смотрит на меня с таким выражением, как будто хочет сказать:

— Ничего другого я и не ожидал от прапорщика...

Проехали...

Батюшки, это что же такое?

Неистово гремя, показывается артиллерия. Протягивают одно, другое, третье... Полубатарея. Ну-ну...

За артиллерией, шлепая по грязи, тянутся две роты пехоты. Ну, теперь все в порядке: «отряд из трех родов оружия». Можно не беспокоиться за Голосеев.

* * *

Ночь черная, как могила... Не только уличных фонарей,— ни одного освещенного окна. Ни одного огня в предместье. С совершенно глухого неба моросит мельчайший дождик.

Я патрулирую во главе взвода. Обхожу улицы, переулки, базар...

Домишки и дома стоят мрачными и глухими массивами. Еще чернее, чем все остальное, дыры выбитых окон и дверей. Под ногами на тротуарах трещит стекло. Иногда спотыкаешься о что-нибудь брошенное.

Там, в этих полуруинах, иногда чувствуется какое-то шевеление. Очевидно, добрабливают какие-то гиены. Наконец, мне это надоело.

— Кто там, вылезай...

Затихло. Я повторил приказание. Никакого ответа. Я выстрелил из револьвера в разбитое окно.

— Не стреляйте, — мы вылезем...

Из-под исковерканного висящего дверного жалюзи вылезло двое.

Это были солдаты — запасные.

— Ах, так!.. наши!.. Мы тут разоряемся, из сил выбиваемся, ночи не спим, грабителей ловим, — а грабители вот кто! Наши же... Арестовать! Под суд пойдете...

Их окружают. Пошли дальше.

* * *

Слышны приближающиеся голоса, шаги, из-за угла вдруг появляется плохо различаемая гурьба людей.

— Кто вы?.. Что тут делаете?

В темноте не разберешь, что за люди. Те перепугались.

— Мы... Мы — ничего... Мы — вот...

Они суют мне что-то в руки, что оказывается национальными флагами.

— Чего же вы ночью с флагами шляетесь?.. Марш домой!

Отбирают флаги и гонят их. Убегают...

* * *

На одном углу спотыкаемся о какую-то мягкую и рассыпающуюся горку.

— Чай, ваше благородие.

Да, это чай. Симпатичные и душистые кубики в золотом украшенных обертках. И я чувствую, что делается в крестьянских бережливых сердцах моих солдат.

Чай... Драгоценное, солдатское зелье, их роскошь, вот так валяется в грязи, пропадает...

Они не выдерживают.

— Ваше благородие — дозвольте взять... По штучке... Пропадет зря...

В моей душе борьба. Чувствую, что солдатам этого никак не понять, если я откажу. Они честно работали со мною весь день. Старались, как могли, спасая «жидовское добро». Но ведь этот чай — уже ничей. Он все равно пропадет. Как же его не спасти? Принципиально. Но ведь дон-кихотство непонятно им.

И я уступаю.

* * *

Кто скажет «а», — тот скажет «б»...

Унтер-офицер подходит ко мне.

— Ваше благородие...

— Ну?..

— Ребята наши просят — отпустить бы... тех...

У него в голосе что-то подкупающее. Я понимаю, — он просит, чтобы я отпустил тех двух солдат, что мы арестовали.

— Пропадут, ваше благородие... Они уже уволенные со службы. Завтра домой имели ехать... А тут какое дело вышло... Жалко... Ребята очень просят.

Опять коротенькая душевная борьба, и опять я капитулирую.

— Ваше благородие, — мы их сами накажем... А под суд...

Он не доканчивает, но я знаю, что если бы он был интеллигентом, он сказал бы: «А под суд — бесчеловечно».

Но я стараюсь отступить с соблюдением приличий.

— Ну ладно. Но помните, только — ради вашей службы.

— Покорнейше благодарим, ваше благородие...

Я слышу возню в темноте, удары: их «наказывают». Потом они выныривают передо мной:

— Покорнейше благодарим, ваше благородие...

Я все еще стараюсь сохранить конвенансы.

— Не ради вас, мерзавцы... Ради моих сапер.

Как бы там ни было, инцидент исчерпан.

* * *

На одной из улиц (неразгромленной) я почувствовал нечто необычайное.

Полная темнота. Но в под'ездах, в воротах, в дверях, в палисадниках и садиках какая-то возня, шопот, заглушенные голоса. Если они не спят, почему не зажигают света? Почему в полной темноте они перебегают, перешептываются? Что-то встревоженное, волнующееся, напряженное. Что такое?

По обрывкам долетающих слов, — ясно, что это русская улица. Почему они прячутся. На мостовую выйти как бы боятся.

Я остановился и выстроил взвод поперек улицы.

Поняв, что мы — солдаты, люди начинают по одиночке подбираться к нам.

Я вступаю в разговор с ними.

— Что тут такое, чего вы шепчетесь?

— Боимся.

— Чего боитесь?

— Жидов боимся... Идут резать...

— Да откуда это вы взяли?

— Все говорят, ваше благородие...

В это время прямо в строй бросается какая-то женщина. Метнулась от страха.

— Ой ратуйте, ратуйте!..

— Чего ты кричишь, что с тобой?

— Ой, ой, там на Совской... Детки мои... ой, ратуйте!..

— На какой Совской?

Несколько голосов вмешивается.

— Там, ваше благородие, там... Там Совская.

Они показывают руками куда-то в черноту, куда, повидимому, улица уходит в гору.

Баба продолжает кричать истерически: что там на Совской режут ее детей, но что она не пойдет все равно туда и молит о помощи.

— Ратуйте, кто в Бога вируе!..

Вокруг взволнованная, — чувствую, как они перепуганы, — собирается толпа и жмется к моему взводу.

И вдруг я чувствую, что это паническое состояние передается солдатам. Истерический вопль женщины, эта черная темнота, психический ток этой перепуганной толпы — действует на них. А в особенности эта проклятая цифра: «десять тысяч». Эта шепчущаяся толпа только и говорит о десяти тысячах жидов, которые где-то засели, но сейчас вот-вот придут по этой черной улице, вон оттуда, с горки, с этой самой Совской, где уже режут детей этой голосящей бабы. А ведь нас только горсточка, — взвод...

Я говорю солдатам несколько успокаивающих слов, они как будто приободрились, но все же я решаю пройти на эту дурацкую Совскую, чтобы выяснить...

Развернутым строем от стенки до стенки, вернее от палисадника до палисадника, мы поднимаемся вверх по этой чернеющей улице. Двигаемся вперед осторожно, потому-что темно, как в погребе. Пройдя несколько, я вдруг угадываю впереди толпу.

Их не видно, но по приглушенному говору и шуму чувствуется человеческая масса, которая не то стоит, не то идет поперек улицы.

Я останавливаю взвод. Кричу в темноту:

— Кто идет? Что за люди?..

Говор вдруг замолкает. Наступает тишина, но ответа нет. Темная масса, которая уже чуть-чуть различается глазами, стоит неподвижно.

Повторяю вопрос.

— Да отвечайте же. Кто такие?

Ответа нет.

Кричу еще раз:

— Отвечайте, не то стрелять буду.

Ответа нет.

Я приказываю горнисту.

— Сигнал.

Замершую — черную, как демиевская грязь,—темноту вдруг прорезает желтый хрипло-резкий звук трубного сигнала: «слушайте все»... Сигнал звучит зловеще, но вместе с тем внушительно, торжественно.

После его резкого четырехстопья опять наступает мертвая черная тишина. И тогда, наконец, из темноты раздается голос. Великолепный голос и на чистейшем киевско-демиевском диалекте. Но боже мой, что он говорит:

— Стрелять хатишь?.. Стреляй... Стреляй... Я с портретом государя моего на груди стою, а ты стрелять хатишь?.. А генерала знаешь... Я министру самому на тебя жалобу подам... Стреляй, стреляй...

Я не стал дожидаться продолжений.

— Взвод, вперед!

* * *

Они облепили нас, как пчелы матку.

— Господи, ваше благородие... Уж как мы боялись... Целый день говорят, что жиды придут — десять тысяч... Вот мы подумали: уже идут... А это вы... Господи, вот же не познали...

— Чего же вы тут собрались все?

— А так, ваше благородие, порешили, что так же нельзя даться... Вот собрались все вместе, чтобы друг другу помощь подать... Один до одного жмется... Все равно не спим... боимся...

В задних рядах ясно слышу тот самый голос, который читал мне только что ектенью с «портретом моего государя на

груди». Через несколько времени он попадает в орбиту моей руки. Я схватываю его за шиворот.

— Это ты на меня хотел министру жаловаться?..

— Я...

— А где же портрет?..

— А вот...

Действительно, держит в руках портрет из календаря.

— Будешь жаловаться?

— Да нет... Ето я... так...

— То-то — так.

Кругом хохочут...

Я приказываю разойтись по домам, объясняю им, что все это вздор. Расходятся...

* * *

Приходит приказание от ротного командира: «пришла смена, можно вести людей на отдых».

Идем по совершенно черным, но успокоившимся улицам. Единственный огонь в полицейском участке. Захожу на всякий случай.

Вижу того полковника, который тогда меня подарил презрительным взглядом за то, что я не мог ему сообщить ничего о Голосеевском лесе. Я не удержался:

— Разрешите спросить, господин полковник. Как в Голосеевском лесу?

Он посмотрел на меня, понял и улыбнулся.

— Неприятель обнаружен не был...

* * *

Вот дом для отдыха. Во дворе нас встречает еврейская семья, которая не знает, как забежать и что сделать, чтобы нам угодить. Это понятно: наше присутствие обеспечивает им безопасность.

— Гаспадин солдат, — вот сюда, сюда пожалуйте.

Они ведут моего унтер-офицера куда-то, и я слышу его голос, который бурчит из темноты:

— Вчера был «москаль паршивый», а сегодня «гашпадин солдат»... Эх, вы!..

* * *

Нам, офицерам, хозяева отвели свою спальню.

Устали мы сверх-естественно. Раздеваться нельзя, потому что бог знает, что может случиться. Но надо же отдохнуть. Дразнят «великолепные постели» с красными атласными стеганными одеялами. Ротный говорит:

— Ну куда же мы тут ляжем?.. Вот с этакими сапожищами на такое одеяло...

Но хозяйка возмущается:

— Что вы, ваше блáгородие. Как же, вы устали! Ложитесь, отдыхайте себе на здоровьечко. Ведь это же в ваше полное распоряжение...

* * *

Мы ложимся и отдыхаем среди «еврейских шелков». Так кончается для меня второй день «конституции»...

Третий день «Конституции».

Уже давно мы так сидели вдвоем. Это было в один из послепогромных дней. Там же на Демиевке, — в одном из домов.

Я читал книгу, подобравшись ближе к печке. Изредка похлебывал чай. А он сидел в углу на неудобном стуле, сгорбившись — неподвижно. Он внимательно смотрел вниз в другой угол — напротив. Я думал, что он следит за мышью, которая так шуршала обоями. Это был старик еврей, седой, худой, с длинной бородой. Мы не обращали друг на друга никакого внимания и сидели так, может быть, часа два. Печка приятно трещала, в окно понемножку входили голубоватые сумерки.

Караул помещался внизу. А мне отвели помещение здесь— в комнате, которая служила и столовой и гостиной в этой еврейской семье. Старик этот был хозяин,

Наш батальон в это время охранял Демиевку и каждые сутки выставлял караул. Мы помещались в разных домах, где придется. В противоположность дням допогромным, каждый еврейский дом добивался, чтобы караул поставили у него. Принимали всегда в высшей степени радушно, но я старался держаться «raide». В качестве войск мы обязаны были сохранять «нейтралитет» и, спасая евреев, держаться так, чтобы русское население не имело бы поводов выдумывать всякие гадости вроде: «жиды купили офицеров».

Поэтому я читал, не заговаривая с хозяином. Он молчал, этот старик, и о чем-то думал. И вдруг неожиданно разразился...

— Ваше благородие... сколько их может быть?

— Кого?

— Этих сволочей, этих мальчишек паршивых...

— Каких мальчишек?

— Таких, что бомбы бросают... Десять тысяч их есть?

Я посмотрел на него с любопытством.

— Нет... конечно, нет...

— Ну, так что же!.. Так на что же министры смотрят... Отчего же их не вывешать всех!..

Он тряс перед собой своими худыми руками. Мне показалось, что он искренен, этот старик.

— А отчего вы сами, евреи, — старшие, не удержите их? Ведь вы же знаете, сколько ваших там?

Он вскочил от этих слов.

— Ваше благородие. И что же мы можем сделать? Разве они хотят нас слушать? Ваше благородие. Вы знаете, — это чистое несчастие. Приходят ко мне в дом... Кто? — Мальчишки. Говорят: «давай»... И я мушу дать... Они говорят—«самооборона». И мы даем на самооборона. Так ви знаете, ваше благородие, что они сделали, эти сволочи на Демиевке? эта «самооборона»? Бомбы, так бросать они могут. Это они таки умеют, да... А когда пришел погром до нас, так что эта самооборона? Штрелили эти паршивые мальчишки, штрелили и убегли... Они таки убегли, а мы таки остались... Они стрелили, а нас бьют... Мальчишки паршивые! «самооборона»!!!

— Все таки надо удерживать вашу молодежь.

— Ваше благородие, как их можно удерживать!.. Я—старый еврей. Я себе хожу в синагогу. Я знаю свой закон... Я имею бога в сердце. А эти мальчишки! Он себе хватает бомбу, идет — убивает... На тебе — он тебе революцию делает... Ваше благородие... И вы поверьте мне, старому еврею: вы говорите — их нет десять тысяч. Так что же, в чем дело?!. Всех их сволочей паршивых, всех их, как собак, перевешивать надо. И больше ничего, ваше благородие.

* * *

С тех пор, когда меня спрашивают:

— Кого вы считаете наибольшим черносотенцем в России?

Я всегда вспоминаю этого старого еврея... И еще я иногда думаю: ах, если бы «мальчишки», еврейские и русские, во-время послушались своих стариков — тех, по крайней мере, из них, кто имели или имеют «бога в сердце»?..

Предпоследние дни «Конституции».

(3-е ноября 1916 года.)

Было так тихо, как бывало в этом Таврическом дворце после бурного дня... Было тихо и полутемно. Самый воздух, казалось, отдыхал, стараясь забыть громкие волнующие слова, оглушительные рукоплескания, яркий нервирующий свет, — все, что тут было...

Я любил иногда по вечерам оставаться здесь совершенно один. Нервы успокаиваются... И так хорошо думается... Думается совсем по-иному... Можно посмотреть на себя со стороны... Так, как разглядывают из темноты освещенную комнату...

* * *

Вот кресло... Удобное кожаное кресло.

Передо мною огромная зала... Длинный ряд массивных белых колонн... Нет, они сейчас не белые... Полуосвещенные, они сейчас загадочного цвета — оттенка неизвестности. О чем они думают... Они видели Екатерину[8], теперь созерцают «его величество, желтый блок»[9]... Что они еще увидят?..

* * *

Сегодня я сказал речь... Ах, эти речи.

— Вы так свободно говорите... Вам, вероятно, это никакого труда не составляет.

Знали бы они, что это такое... Чего стоят эти полчаса, проведенные на «Голгофе», на этой «высокой кафедре», как неизменно ее называют наши батюшки?.. Какое неумолимое напряжение мысли, воли, нервов...

Я как-то был в бою,—страшно? Нет... Страшно говорить в Государственной Думе... Почему? Не знаю... Может быть потому, что слушает вся Россия.

Впрочем, находятся утешители:

— Зато вам очень хорошо платят... Вы говорите раза три — четыре в год... И получаете четыре тысячи рублей... Тысячу — за выход. Это почти шаляпинский гонорар.

* * *

Кстати сегодня Шаляпин был на хорах. Кого только не было. Сегодня «большой думский день». А это все равно, что премьера в Мариинском. Маклаков[10] нас познакомил. Шаляпин сделал мне комплимент по поводу моей речи:

— Так редко удается услышать чистую русскую речь.

Это замечание в высшей степени мне польстило. Для нас «киевлян», «чистая русская речь» наше слабое место...

Мы говорим плохо, с южным акцентом... И вдруг...

* * *

Это пустяки... Но каким образом я, природный киевлянин, а значит чистой воды черносотенец, дошел до нижеследующего: мне только что сообщили, что моя речь не появится в провинции, так как не пропущена цензурой...

Что это значит? Это значит, что через несколько дней ее будут стучать на машинках барышни всей Российской державы, и в рукописном виде распространять, как «нелегальщину»... Я — «и подпольная литература». Нечто чудовищное... Каким образом это произошло!..

* * *

Эти белые колонны, вероятно, не заметили меня, когда десять лет тому назад робким провинциалом я пробирался сквозь злобные кулуары II Государственной Думы, — «Думы народного гнева»[11]. Пробирался для того, чтобы с всероссийской кафедры, украшенной двуглавым орлом, высказать слова истинно-киевского презрения к их «гневу» и к их «народу»... Народу, который во время войны[12] предал свою родину, который шептал гнусные змеиные слова «чем хуже, тем лучше», который ради «свободы» жаждал разгрома своей армии, ради «равноправия» — гибели своих эскадр, ради «земли и воли» — унижения и поражения своего отечества... Мы ненавидели такой народ и смеялись над его презренным гневом... Не свободы «они» были достойны, а залпов и казней...

* * *

Залпы и казни и привели их в чувство... И белые колонны Таврического дворца увидели третью Государственную Думу — эпоху Столыпина[13]... Эпоху реформ...quand même,— эпоху под лозунгом: «все для народа — вопреки народу»... Мы, провинциалы, твердо стали вокруг Столыпина и дали ему возможность вбивать в крепкие мужицкие головы сознание, что земли «через волю» они не получат, что грабить землю нельзя — и глупо и грешно, что земельный коммунизм непременно приведет к го-

лоду и нищете, что спасение России в собственном, честно полученном куске земли — в «отрубах», в «хуторах» [14], как тогда говорили, и, наконец, что «волю» народ получит только «через землю», т. - е. не прежде, чем он научится ее, землю, чтить, любить и добросовестно обрабатывать, ибо только тогда из вечного Стеньки Разина [15] он станет гражданином...

И сколько раз эти белые колонны видели нас, спешащих туда, в этот зал, чтобы там, — с трибуны, неизменно держащей двуглавого орла, «глаголом жечь сердца людей», людей, гораздо более крепкоголовых, чем саратовские мужики, людей, хотя и высокообразованных, но тупо не понимавших величия совершавшегося на их глазах и не ценивших самоотверженного подвига Столыпина...

* * *

Столыпин заплатил жизнью за то, что он раздавил революцию [16], и, главным образом, за то, что он указал путь для эволюции. Нашел выход, объяснил, что надо делать... Выстрел из револьвера в Киеве — увы, нашем Киеве, всегда бывшем его лучшей опорой, — закончил столыпинскую эпоху... Печерская лавра приняла пробитые пулей Богрова [17] тела, а новый председатель совета министров взял на себя тяжесть правления...

И скоро мне пришлось сказать:

— Будет беда. Россия безнадежно отстает. Рядом с нами страны высокой культуры, высокого напряжения воли. Нельзя жить в таком неравенстве. Такое соседство опасно. Надо употребить какие-то большие усилия. Необходим размах, изобретательность, творческий талант. Нам надо изобретателя в государственном деле... Нам надо «социального Эдиссона» [18]...

И колонны слышали ответ:

— От меня требуют, чтобы я был каким-то государственным Эдиссоном... Очень был бы рад... Но чем я виноват, что я не Эдиссон, а только Владимир Николаевич Коковцев [19].

* * *

Конечно, В. Н. не был виноват. Как не был виноват весь класс, до сих пор поставлявший властителей, что он их больше не поставляет.... Был класс, да съездился...

* * *

Меж тем, перед Россией вставали огромные трудности. Германия искала выхода для своего населения, нарастающего, как прилив, и для своей энергии, усиливающейся, как буря.

Естественно, что глаза немцев жадно устремлялись в ленивую пустоту Востока.

Как?! Эти ничтожные русские получают 35 пудов зерна с десятины?.. Это просто стыдно. О, мы научим их, как обращаться с такой драгоценностью, как русский чернозем! К тому же, если мы объявим им войну, у них сейчас же будет революция. Ведь их культурный класс может только петь, танцовать, писать стихи... и бросать бомбы.

И над Германией неумолчно звучал воинствующий крик— «Drang nach Osten», и раздавались глухие удары молотов Круппа [20]...

* * *

И произошло то, что должно было произойти: немецкие профессора бросили германскую армию на Россию [21]...

* * *

Тут случилось чудо... Та самая русская интеллигенция, которая во время японской войны насквозь пропиталась лозунгом «чем хуже, тем лучше» и только в поражении родины видела возможность осуществления своих снов «о свободе», — вдруг словно переродилась.

* * *

И белые колонны увидели, как 26-го июля 1914 года [22] на кафедру в этот день, городеливо подпираемую двуглавым орлом, один за другим всходили представители еще недавно пораженческих групп и в патетических словах обещали всеми силами поддержать русскую государственную власть в ее борьбе с Германией...

* * *

Успех не долго сопутствовал нашему оружию. Не хватило снарядов, и разразилось грозное отступление в 1915 году [23]. Я был на фронте и видел все... Неравную борьбу безоружных русских против «ураганного» огня немцев... И когда снова была созвана Государственная Дума [24], я принес с собой, как и многие другие, горечь бесконечных дорог отступления и закипающее негодование армии против тыла.

* * *

Я приехал в Петроград, уже не чувствуя себя представителем одной из южных провинций. Я чувствовал себя представителем армии, которая умирала так безропотно, так задаром, и в ушах у меня звучало:

— Пришлите нам снарядов.

* * *

Как это сделать?

Мне казалось ясным одно: нужно прежде всего и во что бы то ни стало сохранить патриотическое настроение интеллигенции. Нужно сохранить «волю к победе», готовность к дальнейшим жертвам. Если интеллигенция под влиянием неудач обратится на путь 1905 года, т.-е. вновь усвоит психологию пораженчества, — дело пропало... Мы не только не подадим снарядов, но будет кое-что похуже, будет революция.

И я, едва приехав, позвонил к Милюкову [25].

* * *

Милюков меня сразу не узнал: я был в военной форме. Впрочем, и вправду, я стал какой-то другой. Война ведь все переворачивает.

С Милюковым мы были ни в каких личных отношениях. Между нами лежала долголетняя политическая вражда. Но ведь 26-го июля как бы все стерло... «все для войны»...

Но все же он был несколько ошеломлен моей фразой:

— Павел Николаевич... Я пришел вас спросить напрямик: мы — друзья?

Он ответил не сразу, но все же ответил:

— Да... кажется... Я думаю... что мы — друзья.

* * *

Из дальнейшего разговора выяснилось, что кадеты не собираются менять курса, что они попрежнему будут стоять за войну «до победного конца», но...

— Но подъем прошел... Неудачи сделали свое дело... В особенности повлияла причина отступления... И против власти... неумелой... не поднявшейся на высоту задачи... сильнейшее раздражение...

— Вы считаете дело серьезным?

— Считаю положение серьезным... и прежде всего надо дать выход этому раздражению... От Думы ждут, что она заклеймит виновников национальной катастрофы... И если не открыть этого клапана в Государственной Думе, раздражение вырвется другими путями... Дума должна резко оценить те ошибки, а может быть, преступления, благодаря которым мы отдали не только завоеванную потоками крови Галицию, но и, кто знает, что еще отдадим... Польшу.

— Я еще не говорил со своими... Но весьма возможно, что в этом вопросе мы будем единомышленниками... Мы, приехавшие с фронта, не намерены щадить правительство... Слишком много ужасов мы видели... Но это одна сторона,—

так сказать, необходим «суровый окрик»... Но ведь нельзя угашать духа, надо дать нечто положительное... как-то оживить мечту первых дней...

— Да... Чтобы оживить мечту, чтобы поднять дух, надо дать уверенность, что все эти жертвы, уже принесенные, и все будущие не пропадут даром... Это надо сделать двумя путями.

— Именно?

— С одной стороны надо, чтобы те люди, которых страна считает виновниками, ушли... Надо, чтобы они были заменены другими, достойными, способными,—людьми, которые пользуются общественным весом, пользуются, как это сказать, ну, общественным доверием — что ли...

— Вы хотите ответственного министерства?

— Нет... Я бы затруднился формулировать эти требования выражением «ответственное министерство»... Пожалуй, для этого мы еще не готовы. Но нечто вроде этого... Не может же в самом деле совершенно рамольный Горемыкин [26] быть главою правительства во время мировой войны... Не может, потому что он органически, и по старости своей и по заскорузлости, не может стать в уровень с необходимыми требованиями... Западные демократии выдвинули цвет нации на министерские посты!..

— А второе?

— Второе вот что. — Чтобы поднять дух, как вы сказали, оживить мечту, надо дать возможность мечтать... Я хочу сказать, что в исходе войны, в случае нашей победы, мечтают о перемене курса... ждут другой политики... ждут свободы...

— В награду за жертвы?

— Не в награду, а как естественное следствие победы. Если Россия победит, то, очевидно, не правительство. Победит вся нация. А если нация умеет побеждать, то как можно отказать ей в праве свободно дышать?.. Свободно думать, свободно управляться... Поэтому необходимо, чтобы власть доказала, что она, обращаясь к нации за жертвами, в свою очередь готова жертвовать частью своей власти... и своих предрассудков.

— Какие же доказательства?

— Доказательства должны заключаться в известных шагах... Конечно, война не время для коренных реформ, но кое-что можно сделать и теперь... Должно быть как бы вступление на путь свободы... Будем ли мы и в этом согласны?..

Теперь уже я ответил не сразу. Но все же ответил:

— Лично я думаю, как Алексей Толстой [27]: «Есть мужик и мужик. Коль мужик не пропьет урожаю, я того мужика уважаю».

— Что это значит?

— Это значит: насколько народ 1905 г., усвоивший пораженческую психологию, с моей точки зрения, не заслуживал ничего, кроме репрессий, настолько Россия 1915 года, о которой можно сказать словами того же Толстого — «иже кровь в непрестанных боях за тя, аки воду, лиях и лиях»,—заслуживает вступления на путь свободы.

* * *

Этот разговор мог бы служить прологом к тому, что впоследствии получило название «прогрессивный блок», который его враги прозвали «желтый блок»...

* * *

Шесть фракций (кадеты, прогрессисты, левые октябристы, октябристы земцы, центр и националисты-прогрессисты) Государственной Думы [28] и часть Государственного Совета [29] об'единились на весьма скромных «реформах», которые могли бы рассматриваться как «вступление на путь»...

Этими словами и был выражен в «великой хартии блока» [30] (письменное соглашение фракций) абзац, имевший серьезное политическое значение:

«Вступление на путь отмены ограничительных в отношении евреев законов»...

* * *

Однако, этот пункт, даже в таком виде, был тяжел для правого крыла блока. И сколько раз эти белые колонны видели наши лица, сугубо озабоченные из-за «еврейского вопроса»...

Мы понимали, что кадеты не могут не сказать что-нибудь на эту тему. Мы даже ценили это «вступление на путь», которое звучало так мягко... С другой стороны, и по существу нельзя было не видеть разницу в теперешнем поведении руководящего еврейства сравнительно с 1905 годом.

Тогда они поставили свою ставку на пораженчество и революцию... И проиграли. Результатом этой политики были погромы и обновленная суровость административной практики. Теперь же руководящее еврейство поставило ставку на «патриотизм»... Вся русская печать (а ведь она на три четверти была еврейская) требовала войны «до победного конца»... Этого нельзя было не заметить, и на это следовало ответить обнадеживающим жестом.

Но, боже мой, как это было трудно. На фронте развивалась сумасшедшая «шпиономания», от которой мутились го-

ловы и в Государственной Думе. Люди не понимали, что «фронтовые жиды» не перестанут шпионить, если крепче поприжать «тыловых». Не понимали и того, что эти тыловые держат в своих руках грозное оружие—прессу, которой в момент напряжения всех сил государства меньше всего можно пренебрегать.

* * *

Остальное в «великой хартии блока» было просто безобидным: «уравнение крестьян в правах» — вопрос, предрешенный еще Столыпиным; «пересмотр земского положения», — тоже давно назревший за «оскудением» дворянства; вполне вегетарианское «волостное земство»; прекращение репрессий против «малороссийской печати», которую никто не преследовал; «автономия Польши», — нечто совершенно уже академическое в то время в виду того, что Польшу заняла Германия... Вот и все. Но было еще нечто, из-за чего все и пошло...

* * *

Это нечто заключалось в требовании, чтобы к власти были призваны люди, «облеченные общественным доверием». На этом все и разыгралось... Все «реформы» прогрессивного блока в сущности для мирного времени... Кого интересует сейчас «волостное земство»?—Все это пустяки. Единственное что важно: кто будет правительством?

* * *

Вскоре после образования прогрессивного блока была попытка сговориться.

В один неудачный вечер мы, блокисты, сидели за одним столом с правительством...

Ничего не вышло. Правда, несколько министров явственно были с нами: они склонны были уступить.

Что, собственно, уступить?

Дело ясно: надо позвать кадет и предоставить им сформировать кабинет. Собственно говоря, почему этого не сделать? В 1905 году кадеты были пораженцы и шли по одной дороге с террористами, — тогда их позвать нельзя было. Но раз они теперь — патриоты, то пусть бы составили кабинет. Боятся, что они будут слишком либеральны? Пустяки: on a vu des radicaux ministres, on n'a jamais vu des ministres radicaux...

Сего не поняли, кадетов отвергли, и вот уже больше года тянется «это»... И бог один знает, к чему приведет...

* * *

Да, — год с лишним...

Что сделано за это время?

Присылали ли мы им снарядов, по крайней мере?..

* * *

Зала в Мариинском дворце. Она вся темно-красная. До полу бархатом укрыты столы, — красиво выгнутые подковой... Красный бархат и на удобных креслах... Мягкие ковры, совершенно глушащие шаги, тоже красные.

По средине стола сидит военный министр [31]. Он выделяется серебром погон среди черных «сюртучных» крыльев. Справа от него седой и желтый председатель Государственного Совета [32], слева председатель Государственной Думы — огромный Родзянко [33]. Рядом с председателем Государственного Совета — члены этого же совета — числом девять: Тимашев [34], Стишинский [35], Стахович [36], Шебеко [37], Гурко [38], граф Толь [39], Иванов [40] и еще кто-то. Рядом с председателем Государственной Думы — члены этой же Думы — так же числом девять: Дмитрюков [41], Марков 2-ой [42], Шингарев [43], Милюков, Чихачев [44], Львов [45], Крупенский [46], я, еще кто-то...

Против председателя представители всевозможных ведомств. Среди них несколько генералов и самый замечательный — Маниковский [47], начальник главного артиллерийского управления.

Заседания сильно дисциплинированы, почти торжественны. Говорят негромко и обыкновенно немного. Иногда бывает так тихо, что слышно, как великолепная хрустальная люстра чуть звенит своими искрящимися привесками. Идеальной важности лакеи разносят кофе в приятных чашках.

Что это такое?

Это — Особое совещание по государственной обороне. В 1915 г., под давлением Государственной Думы, были образованы эти, так называемые, Особые совещания. Их было четыре: «Особое совещание по государственной обороне» (председатель — военный министр); «Особое совещание по транспорту (председатель — министр путей сообщения); «Особое совещание по топливу (председатель — министр торговли и промышленности); «Особое совещание по продовольствию (председатель — министр земледелия) [48].

Эти Особые совещания сделаны, если так можно выразиться, вроде, как кузня... Кузнец — министр всего министерства. А роль тех, кто работает мехом, т. е. роль «раздувальщиков», исполняем мы, члены законодательных палат.

Военный министр докладывает...

— В последнее время в ставке шли подсчеты количества снарядов, необходимого для всего фронта. В настоящее время эти подсчеты закончены. Письмом на мое имя начальник штаба Ставки просит Особое совещание по государственной

обороне довести производство снарядов до 50 «парков» в месяц.

Среди членов Совещания происходит движение. Это ведь самый важный вопрос. Сейчас решится масштаб дела, а, следовательно, и масштаб войны. 50 «парков», если считать на «полевые парки», которые заключают в себе 30.000 снарядов,—это выходит полтора миллиона в месяц. Это много. Но достаточно ли?..

Курчавая голова «медного всадника» (как в насмешку называют Маркова второго за его сходство с Петром Великим) приходит в движение. Он просит слова:

— Относясь со всем уважением к произведенным в Ставке Верховного Главнокомандующего подсчетам, я, тем не менее, должен заявить, — не в обиду будь им сказано,—что настоящая война совершенно доказала нижеследующее. Со всякими вообще «подсчетами специалистов» нужно поступать так, как поступил восточный мудрец со своей женой: нужно выслушать эти подсчеты... и поступить «наоборот». Я убежден, что к тому времени, когда мы сможем довести наше производство до 50 парков, мы получим новое заявление, в котором будет сказано, что «в силу изменившихся условий техники» все прежние подсчеты оказались недостаточными, и требуется увеличить норму вдвое. Я предлагаю не дожидаться этого неизбежного заявления, а сразу, теперь же увеличить расчет Ставки вдвое и поручить главному артиллерийскому управлению довести производство снарядов не до 50 парков, а до 100 парков в месяц.

Это заявление вызвало продолжительный обмен мнений. Часть членов Государственного Совета, привыкших к старой бюрократической дисциплине, находила совершенно невозможным в чем-либо изменять предложение Ставки Верховного Главнокомандующего. Но на сторону Маркова весьма энергично стал монументальный Михаил Владимирович Родзянко, самой природой предназначенный для сокрушения министерских джунглей. Родзянко несет свой авторитет председателя Государственной Думы с неподражаемым весом. Это его—достоинство и недостаток. «Цукать» министров с некоторого времени сделалось его потребностью. Впрочем, правду сказать, и было за что разносить, принимая во внимание, сколько народу уложили и сколько губерний отдали. Маркова поддержал и пламенный Шингарев, который и на этот раз тронул всех почти до слез. Шингарев очень переменился за время войны. Я помню, как раньше, когда он говорил с кафедры, у него иногда бывали такие злые глаза... Теперь эти «злые глаза» так часто подергиваются подозрительной влагой... И становятся удиви-

тельными, когда он говорит о России... Остальные члены Государственной Думы—и Николай Николаевич Львов, с бесконечно-доброй улыбкой и глазами фанатика, и Милюков, истинно-русский кадет, по какой-то игре природы имеющий некоторое обличье немецкого генерала, и Дмитрий Николаевич Чихачев, такой высокомерный на вид, что про него его друзья говорили, будто у него не хватает одного шейного позвонка, а на самом деле только обостренно-порядочный человек, и другие—все поддержали «100 парков». К нам присоединились и некоторые члены Государственного Совета... Великолепный Михаил Стахович, изящный Шебеко, умный и злой Гурко, Александр Семенович Стишинский, несмотря на многодесятилетнюю добросовестную службу бюрократическому режиму, более других проявлявший понимание новых условий, в которые бросила Россию мировая война, и др....

Наконец, председатель артиллерийской комиссии, бывший министр торговли и промышленности, Тимашев сказал:

— Все это очень хорошо, но мало желать и мало постановлять. Надо, чтобы это постановление вообще могло быть выполнено... Я просил бы, чтобы начальник главного артиллерийского управления, которого это ближе всех касается, высказал, наконец, свое мнение: возможно ли довести производство снарядов до 100 парков в месяц.

Генерал Алексей Алексеевич Маниковский был талантливый человек. Что он делал со своим «главным артиллерийским управлением», я хорошенько не знаю, но в его руках казенные заводы, да и частные (например: мы отобрали у владельцев огромный Путиловский завод и отдали его в лен Маниковскому) — делают чудеса. У него запорожская голова, соединение смелости и хитрости. Говорит громким, но чуть хриплым голосом, говорит великолепно, хотя представляется, что он солдат и говорить не умеет. Он встал и попросил военного министра:

— Разрешите доложить.

Генерал Поливанов, военный министр, человек умный, вдумчивый и большой дипломат. Когда он говорит, он всегда ежится плечами и нервно поводит головой, — это «тики» — верный признак угасания индивидуума или рода.

Он разрешил Маниковскому говорить.

— Господа члены Особого совещания... Я — солдат, — много говорить не умею. Вы уж меня простите. Дело обстоит так... Невозможного на свете нет. Вы хотите 100 парков в месяц... Трудно... Очень трудно, но на то и война, чтобы преодолевать трудности. Ваше дело приказывать... Мое дело исполнить... Прикажете 100 парков,—будет 100 парков...

«Мы приказали»...

* * *

Однако, Марков ошибся.... Но только в другую сторону. Когда мы довели производство до 100 парков — вместо потребованных Ставкой 50, — тогда получилось новое предписание: довести производство не до 100, а до 150 парков. Конечно, „l'appetit vient en mangeant"...

Но мы доведем и до 150 и почти уже довели. Но только потому, что тогда имели смелость «свое суждение иметь». Имели же мы эту смелость потому, что Особое совещание состояло из генералов, окруженных самыми влиятельными членами законодательных палат, для которых, как известно, закон не писан...

Вообще, размах у нас есть. Например, мы дали заказ на 40.000.000 сапог. Еще «немножко», и мы осуществим социалистический идеал, по крайней мере, в отношении ног: вся нация будет одеваться, обуваться государством... по заказам Особого совещания по государственной обороне.

* * *

С этой стороны наша совесть чиста. Мы сделали все, что возможно... Свою обязанность «раздувальщиков священного огня» военного творчества исполняли не за страх, а за совесть.

Но вот другая сторона... Бывают минуты, когда я начинаю сомневаться... В другом отношении, где мы условились быть не раздувальщиками огня, а как раз наоборот—гасителями пожара,—исполняем ли мы свое намерение? Тушим ли мы революцию?..

* * *

Правда, больше года уже прошло. Революция до сих пор еще не разыгралась. Раздражение России, вызванное страшным отступлением 1915 года, действительно удалось направить в отдушину, именуемую Государственной Думой. Удалось перевести накипавшую революционную энергию в слова, в пламенные речи и в искусные звонко-звенящие «переходы к очередным делам». Удалось подменить «революцию», т.-е. кровь и разрушение, «резолюцией», т.-е. словесным выговором правительству...

Удавалось и другое: удавалось на базе этих публичных «строгих выговоров» сохранять единство с ним, с правительством, в самом важном—в отношении войны. Удавалось все время твердо держать над куполом Таврического дворца яркий

плакат—«все для войны»... Сколько бы «медный всадник» ни называл прогрессивный блок — «желтым блоком», — это неправда, потому что блок трехцветный: он бело-сине-красный, он национальный, он русский!

Но...

Но не начинает ли красная полоса этой трехцветной эмблемы расширяться не «по чину» и заливать остальные цвета?

В минуту сомнений мне иногда начинает казаться, что из пожарных, задавшихся целью тушить революцию, мы невольно становимся ее поджигателями.

Мы слишком красноречивы... мы слишком талантливы в наших словесных упражнениях. Нам слишком верят, что правительство никуда негодно...

* * *

Ах, боже мой... Да ведь ужас и состоит в том, что это действительно так: оно действительно никуда негодно.

В техническом отношении еще куда ни шло. Конечно, нам далеко до Англии и Франции. Благодаря нашей отсталости, огромная русская армия держит против себя гораздо меньше сил противника, чем это полагалось бы ей по численной разверстке. Нам недавно докладывали в Особом совещании, что во Франции на двух бойцов приходится один солдат в тылу. А у нас наоборот, на одного бойца приходится два солдата в тылу, т.-е. вчетверо более. Благодаря этому, число бойцов, выставленных Россией с населением в 170.000.000, немногим превышает число бойцов Франции, с 40.000.000 населения. Это не мешает нам нести жесточайшие потери. По исчислению немцев, Россия по сегодняшний день потеряла 8 миллионов убитыми, ранеными и пленными. Этой ценой мы вывели из строя 4 миллиона противников [49].

Этот ужасный счет, по которому каждый выведенный из строя противник обходится в два русских, показывает, как щедро расходуется русское пушечное мясо. Один этот счет — приговор правительству. Приговор в настоящем и прошлом. Приговор нам всем... Всему правящему и неправящему классу, всей интеллигенции, которая жила беспечно, не обращая внимания на то, как безнадежно в смысле материальной культуры Россия отстает от соседей...

То, что мы умели только «петь, танцовать, писать стихи и бросать бомбы», теперь окупается миллионами русских жизней — лишних русских жизней...

Мы не хотели и не могли быть «Эдиссонами», мы презирали материальную культуру. Гораздо веселее было создавать

«мировую» литературу, трансцедентальный балет и анархические теории. Но зато теперь пришла расплата.

«Ты все пела...
Так поди же — попляши»...

И вот мы пляшем... «последнее танго»... на гребне окопов, забитых трупами...

* * *

По счастью, «страна» не знает этого ужасного баланса смерти: два русских за одного немца, и поэтому эта самая тяжкая вина исторической России пока не ставится правительству на вид... Те, кто знает баланс, молчат. Ибо здесь пришлось бы коснуться и армии. А армия пока забронирована от нападок.

Об ошибках Ставки и бездарности иных генералов «политические вожди» молчат.

* * *

Но, может быть, так следовало поступить и относительно правительства? Закрыть глаза на все — лишь бы оно довело войну до конца...

Если так и следовало поступить, то это было невозможно. Когда мы съехались в 1915 году в Петроград, выбора не было. Все были так накалены, что «заклеймить виновников национальной катастрофы» было необходимо Государственной Думе, если она желала, чтобы ее призыв — новых жертв и нового под'ема — был воспринят армией и страной. Между Думой и армией как бы сделалось немое соглашение:

Дума. Мы «их» ругаем, а вы уже не ругайтесь, а деритесь с немцами...

Армия. Мы и будем драться, если вы «их» как следует «нацукаете»...

* * *

И вот мы «цукаем».

Не довольно ли?

Беда в том, что никак остановиться нельзя.

Военные неудачи, напряжение, которое становится не под силу, утомление масс, явственно переходящее в отказ воевать,— все это требует особо искусной внутренней политики.

А внутренняя политика?..

Зачем это делается — одному богу известно...

Нельзя же в самом деле требовать от страны бесконечных жертв и в то же время ни на грош с ней не считаться... Можно не считаться, когда побеждаешь: победителей не судят...

Но «побеждаемых» судят и судят не только строго, а в высшей степени несправедливо, ибо сказано: «vae victis!»

Надо признать этот несправедливый закон — «горе побежденным», надо признать неизбежность этой несправедливости и сообразно с этой неизбежностью поступать. Надо поступать так, чтобы откупиться не только от суда праведного, но и от несправедливого. Надо дать взятку тем, кто обличает... Ибо они имеют власть обличать, так как на каждого обличающего — миллионы жадно слушающих, миллионы думающих так же, нет, не так же, а гораздо хуже. Да, их миллионы, потому что военные неудачи принадлежат к тем фактам, которые не нуждаются в пропаганде... «Добрая слава за печкой лежит, а худая по миру бежит»... За поражения надо платить.

Чем?..

Той валютой, которая принимается в уплату: надо расплачиваться уступкой власти... хотя бы кажущейся, хотя бы временной...

* * *

Интеллигенция кричит устами Думы:

— Вы нас губите... Вы проигрываете войну... Ваши министры—или бездарности, или изменники... Страна вам не верит... Армия вам не верит... пустите нас... Мы попробуем...

Допустим, что все это неправда, за исключением одного: немцы нас бьют — этого ведь нельзя отрицать... А если так, то этого совершенно достаточно, чтобы дать России вразумительный ответ...

* * *

Можно поступить разно:

1) Позвать прогрессивный блок, т.-е., другими словами, кадет, и предоставить им составить кабинет: пробуйте, управляйте.

Что из этого вышло бы—бог его знает. Разумеется, кадеты чуда бы не сделали, но, вероятно, они все же выиграли бы время. Пока разобрались бы в том, что кадеты не чудотворцы, прошло бы несколько месяцев,—а там весна и наступление, которое все равно решит дело: при удаче выплывем, при неудаче все равно потонем.

2) Если же не уступать власти, то надо найти Столыпина второго... Надо найти человека, который блеснул бы перед страной умом и волей... Надо сказать второе «не запугаете», эффектно разогнать Думу и править самим, — не на словах, а на самом деле — самодержавно...

3) Если кадет не призывать, Столыпина второго не находить, остается одно: кончать войну.

Вне этих трех комбинаций нет пути, т.-е. разумного пути. Что же делают вместо этого?

Кадет не зовут, Думы не гонят. Столыпина не ищут. Мира не заключают, а делают, — что?..

Назначают «заместо Столыпина» — Штюрмера[50], о котором Петербург выражается так:

— Абсолютно беспринципный человек и полное ничтожество...

За внешность его называют «святочным дедом»... Но этот «дед» не только не «принесет» порядка России, а «унесет» последний престиж власти...

К тому же этот «святочный дед» с немецкой фамилией...

* * *

Разумеется, шпиономания это — отвратительная и неимоверно глупая зараза. Я лично не верю ни в какие «измены», а «борьбу с немецким засильем» считаю дурацко-опасным занятием. Я пробовал бороться с этим и даже в печати указал, что, «поджигая бикфордов шнур, надо помнить, что у тебя на другом конце»... Я хотел этим сказать, что нельзя всякого немца в России считать шпионом только потому, что он немец, памятуя о принцессе Алисе Гессенской[51], которая у нас государыней... Меня прекрасно поняли и тем не менее изругали с «Новым Временем»[52] во главе.

Все это так, но все же нельзя с этим не считаться, когда все помешались на этом, когда последние неудачи на фронте приписывают тому, что некоторые генералы носят немецкие фамилии. Это нестерпимо глупо, но ведь все революции во все века двигались какими-нибудь кругло-идиотскими соображениями.

* * *

Измена...

Это ужасное слово бродит в армии и в тылу... Началось это еще с Мясоедова[53] в 1914 году, а теперь кого только не обвиняют. Вплоть до самых верхов бежит это слово и рыщут даже вокруг Двора добровольные ищейки. Как будто недостаточно зла причинено России бессознательно, чтобы обвинять еще кого-то в измене...

И это положительно, как зараза. Люди, которые, казалось, могли бы соображать, и те шалеют...

На этой почве едва не треснул блок... Во всяком случае издал неприятный скрип...

* * *

Это было несколько дней тому назад... Мы готовили «переход к очередным делам» по случаю нового созыва Госу-

дарственной Думы. Это вошло уже в обычай. В обычай вошло и то, что переходы эти заключают три части: привет союзникам, призыв к армии — твердо продолжать войну, резкая критика правительства...

Как всегда, мы собрались в комнате № 11. Пасмурное петербургское утро с электричеством. Над бархатными зелеными столами уютно горят лампы под темными абажурами...

Милюков, Шингарев, Шидловский [54], Капнист [55] второй, Скоропадский [56], Львов [57] второй, Половцев второй [58], я.

Председательствовал Шидловский.

Был прочитан проект перехода. В нем было роковое слово: Правительство обвинялось «в измене»...

Резко обозначилось два мнения.

Мнение № 1. Обращаю внимание на слово «измена»... Это страшное оружие. Включением его в резолюцию Дума нанесет смертельный удар правительству. Конечно, если измена действительно есть, нет такой резкой резолюции, которая могла бы достаточно выразить наше к такому факту отношение. Но для этого нужно быть убежденным в наличности измены. Все то, что болтают по этому поводу, в конце-концов, только болтовня. Если у кого есть факты, то я попрошу их огласить. На такие обвинения итти с закрытыми глазами мы не можем.

Мнение № 2. Надо ясно дать себе отчет, что мы вступаем в новую полосу... Власть не послушалась наших предостережений. Она продолжает вести свою безумную политику... Политику раздражения всей страны... страны, от которой продолжают требовать неслыханных жертв... Мало того: назначением Штюрмера власть бросила новый вызов России... Эта политика, в связи с неудачами на фронте, заставляет предполагать самое худшее... Если это не предательство, то что же это такое? Как назвать это сведение на-нет всех усилий армии путем систематического разрушения того, что важнее пушек и снарядов — разрушения духа, разрушения воли к победе?.. Если это не предательство, то это во всяком случае цепь таких действий, что истинные предатели не выдумали бы ничего лучше, чтобы помочь немцам...

Мнение № 1. Все это так, но все же это не измена. Если этими соображениями исчерпываются доводы в пользу включения этого слова в нашу резолюцию, то для меня ясно: измены нет, а следовательно, нужно тщательно избегать этого слова.

Мнение № 2. Это слово повторяет вся страна... Если мы откажемся от него, мы не скажем того, что нужно, того, что от нас ждут... Но это будет политикой страуса: если этого слова не скажет Государственная Дума, то оно все же не пере-

станет повторяться всюду и везде, в армии и в тылу... Но если в чрезмерной добросовестности мы спрячем голову под крыло и промолчим, то прибавится еще другое: скажут — Дума испугалась, Дума не посмела сказать правду, Дума покрыла измену, Дума сама изменила... Мы ничего не переменим в настроении масс, но только вдобавок к разрушению всех скреп государства похороним еще и себя... Рухнет последний авторитет, которому еще верят... Рухнет доверие к Государственной Думе. Когда это случится, а это непременно случится, если мы хотя бы в смягченном виде не выскажем того, чем кипит вся Россия,— тогда это настроение и рассуждение найдут себе другой выход... Тогда оно выйдет на улицу, на площадь... Мы должны это сказать, если бы и не хотели... Мы должны понимать, что мы сейчас в положении человеческой цепочки, которая сдерживает толпу... Да,— мы сдерживаем ее, но все имеет свой предел... Не наша вина, что это невыносимое положение продолжается так долго. Толпа нас толкает в спину... Нас толкают, и мы должны двигаться, хотя и упираясь, сколько хватает наших сил, но все же должны двигаться... Если мы перестанем двигаться, нас сомнут, прорвут, и толпа ринется на тот предмет, который мы все же охраняем, — охраняем, бичуя, порицая, упрекая, но все же охраняем... Этот предмет — власть... Не носители власти, а сама власть... Пока мы говорим, ее ненавидят, но не трогают... Когда мы замолчим, на нее бросятся.

Мнение № 1. Наши мнения совершенно определенные: нельзя обвинять кого бы то ни было в измене, не имея на это фактов. Никакие убеждения, хотя бы самые красноречивые, нас с этого не собьют. К тому же на все эти доводы можно привести контр-доводы, не менее убедительные. Например, что касается авторитета Государственной Думы, то мы потеряем его именно тогда, когда позволим себе обвинять людей в предательстве, не имея на это данных. Авторитет, основанный на лжи, на обмане, или даже на легкомысленной терминологии, не долго продержится. Мы на это не пойдем. Играть в эту игру мы согласны только при одном условии,—карты на стол. Сообщите нам «факты измены» или вычеркните это слово.

Мнение № 2. В нашем распоряжении факты есть, но мы не можем сейчас ими поделиться по слишком веским соображениям.

Мнение № 1. В таком случае мы остаемся при своем убеждении.

* * *

Мы разошлись завтракать при зловещем скрипе блока. Но за завтраком разговор продолжался.

Мнение № 1. Если вы хотите повторить приемы 1905 года, то мы на это не пойдем.

Мнение № 2. Что вы называете приемами 1905 года?

Мнение № 1. А когда вы приписывали правительству устройство еврейских погромов, хотя вы отлично знали, что погромы—стихийны и существуют столько же времени, сколько существуют евреи, и что никогда русское правительство еврейских погромов не устраивало.

Мнение № 2. Во-первых, Плеве [59] устроил кишиневский [60] погром, а во-вторых, в чем вы видите аналогию?

Мнение № 1. В том, что, увлекшись борьбой, вы хотите нанести удар правительству побольней и обвинить его в измене, не имея на то доказательств.

Мнение № 2. Доказательства есть.

Мнение № 1. Так пред'явите их.

Мнение № 2. Мы и пред'явим их в наших речах с кафедры Думы.

* * *

В конце-концов победило компромиссное решение. В резолюцию все же было включено слово «измена», но без приписывания измены правительству со стороны Думы. Было сказано, что действия правительства нецелесообразные, нелепые и какие-то еще привели, наконец, к тому, что «роковое слово измена [61] ходит из уст в уста»...

Это—правда... Действительно ходит...

* * *

Позавчера, 1-го ноября, Милюков сказал свою речь, которая уже стала знаменитой... И сама по себе и в особенности потому, что она запрещена цензурой.

Он пред'явил «факты измены».

Факты были не очень убедительные. Чувствуется, что Штюрмер окружен какими-то подозрительными личностями, но не более. Но разве дело в этом? Дело в том, что Штюрмер маленький, ничтожный человек, а Россия ведет мировую войну. Дело в том, что все державы мобилизовали свои лучшие силы, а у нас «святочный дед» премьером. Вот где ужас... И вот отчего страна в бешенстве.

И кому охота, кому это нужно доводить людей до исступления?! Что это, нарочно, наконец, делается?!.

* * *

Есть такой генерал Шуваев [62] — военный министр. Старик безусловно хороший и честный... На месте главного интенданта он был бы безусловно «на месте», но как военный министр...

Словом, с ним, будто бы, произошло вот что. Как-то он узнал, что и его кто-то считает изменником (хотя на самом деле никто этого никогда не думал). Старик страшно обиделся и, как говорят, все ходил и повторял:

— Я, может быть, — дурак, но я не изменник!..

Милюков взял эту фразу главной осью своей речи. Приводя разные примеры той или иной нелепости, он каждый раз спрашивал: «А это что же—измена или глупость?». И каждый раз этот злой вопрос покрывался громом аплодисментов...

Речь Милюкова была грубовата, но сильная. А главное, она совершенно соответствует настроению России. Если бы каким-нибудь чудом можно было вместить в этот белый зал Таврического дворца всю страну, и Милюков повторил бы перед этим многомиллионным морем свою речь, то рукоплескания, которыми его приветствовали бы, заглушили бы ураганный огонь «150 парков снарядов», изготовленных генералом Маниковским по «приказу» Особого совещания.

Министерские скамьи пустовали...

* * *

Они были пусты и сегодня, когда мне пришлось итти «на Голгофу».

Зато вся Дума переполнена... Все фракции в необычайном сборе, хоры — в густой бахроме людей.

Я посмотрел на пустые скамьи министров.

— Господа члены Государственной Думы. Вы были свидетелями, как в течение многих часов с этой кафедры раздавались тяжелые обвинения против правительства, — такие тяжелые, что можно было бы ужаснуться, слушая их... и все же ужас — не в обвинениях... Обвинения бывали и раньше... Ужас в том, что на эти обвинения нет ответа... Ужас в том, что эти скамьи пусты... Ужас в том, что это правительство даже не находит в себе силы защищаться... Ужас в том, что это правительство даже не пришло в эту залу... где открыто, перед лицом всей России, его обвиняют в измене... Ужас в том, что на такие обвинения,— такой ответ...

Я показал на скамьи министров...

* * *

Разве это неправда? Латинская юридическая поговорка гласит: «кто молчит—еще не соглашается; но если кто молчит, когда он обязан говорить, — тогда он соглашается...»

Здесь именно этот случай. Правительство обязано говорить, раз дело зашло так далеко, и даже не говорить, а ответить.

Ответ же в данном случае не может быть словесным. Есть обвинения, на которые отвечают только действием...

И действие это должно быть: либо уход правительства, либо разгон Думы.

* * *

Но раз Думы не разгоняют, и в то же время обесчещенное правительство, с пятном измены на щеке, продолжает оставаться у власти, то нам остается только жечь его словами, пока оно не уйдет, потому что, если мы замолчим, заговорит улица.

Так я и сказал...

— И мы будем бороться с этим правительством, пока оно не уйдет. Мы будем говорить все «здесь» до конца, чтобы страна «там» молчала... Мы будем говорить для того, чтобы рабочие у станков могли спокойно работать... Пусть льют фронту снаряды, не оборачиваясь назад, зная, что Государственная Дума скажет за них все, что надо. Мы будем говорить для того, чтобы армия в окопах могла стоять на фронте лицом к врагу... не озираясь на тыл... В тылу — Государственная Дума... Она видит, слышит, знает и, когда нужно, скажет свое слово...

* * *

Да, и вот... И вот мою речь будут стучать бесчисленные барышни, как «запрещенную литературу»... Государственная Дума сделала то, чего от нее ждали... Она грозно накричала на правительство, требуя, чтобы оно ушло.

«Расписаны были кулисы пестро...
Я так декламировал страстно...»

* * *

Господи, неужели же никто не в силах вразумить!.. Ведь нельзя же так, нельзя же раздражать людей, страну, народ, льющий свою кровь без края, без счета. Неужели эта кровь не имеет своих прав? Неужели эти безгласные жертвы не дают никакого голоса?..

Не все ли равно — изменник ли Штюрмер или нет. Допустим, что он самый честный из честных. Но, если, правильно или нет, страна помешалась на «людях, заслуживающих доверия», почему их не попробовать?.. Отчего их не назначить?.. Допустим, что эти люди доверия плохи... Но ведь «Столыпина» нет же сейчас на горизонте. Допустим, Милюков — ничтожество... Но ведь не ничтожнее же он Штюрмера... Откуда такое упрямство? Какое разумное основание здесь, — какое?..

* * *

В том-то и дело, что совершается что-то трансцедентально-иррациональное...

* * *

А кроме того, есть нечто, перед чем бессильно опускаются руки ..

Кто хочет себя погубить, тот погубит.

Есть страшный червь, который точит, словно шашель, ствол России. Уже всю сердцевину изъел, быть может уже и нет ствола, а только одна трехсотлетняя кора еще держится...

И тут лекарства нет...

Здесь нельзя бороться... Это то, что убивает...

Имя этому смертельному: Распутин!!! [63]

Предпоследние дни «Конституции».

(Продолжение.)

(Год—1916. Месяцы — ноябрь, декабрь.)

Петроград жужжит все о том же. Чтобы понять о чем, надо прочесть ce qui suit.

* * *

Место действия—«у камина». Пьют кофе—чистое «мокко». Действующие лица: «она» и «он». Она—немолодая дама, он—пожилой господин. Оба в высшей степени порядочные люди в кавычках и без них. Так как они порядочные люди и без кавычек, то образ их мысли возвышается над вульгарной Россией; так как они порядочные люди в кавычках, то они говорят только о том, о чем сейчас в Петрограде говорить «принято».

Она. Я знаю это от... (тут следует длинная Ариаднина нить из кузин и belles-soeurs). И вот что я вам скажу: она очень умна... Она гораздо выше всего окружающего. Все, кто пробовал с ней говорить, были поражены...

Он. Чем?

Она. Да вот ее умом, умением спорить... она всех разбивает... Ей ничего нельзя доказать... В особенности она с пренебрежением относится именно к нам... ну, словом, к Петербургу... Как-то с ней заговорили на эти темы... Попробовали высказать взгляды... Я там не знаю, о русском народе, словом... Она иронически спросила: «Вы что же это во время бриджа узнали? Вам сказал ваш cousin? Или ваша belle-soeur?» Она презирает мнение петербургских дам, считает, что они русского народа совершенно не знают...

Он. А императрица знает?

Она. Да, она считает, что знает...

Он. Через Распутина?

Она. Да, через Распутина... но и кроме того... Она ведь ведет обширнейшую переписку с разными лицами. Получает массу писем от, так сказать, самых простых людей... И по этим письмам судит о народе... Она уверена, что простой

народ ее обожает... А то, что иногда решаются докладывать государю,—это все ложь, по ее мнению... Вы знаете, конечно, про княгиню В.?

Он. В. написала письмо государыне. Очень откровенное... И ей приказано выехать из Петрограда. Это верно?

Она. Да,—ей и ему... Он? Вы его знаете,—это бывший министр земледелия. Но В. написала это не от себя... Она там в письме говорит, что это мнение целого ряда русских женщин... Словом, это, так сказать, протест...

Он. В письме говорится про Распутина?

Она. Да,—конечно... Между прочим, я хотела вас спросить, что вы думаете об этом... словом, о Распутине?

Он. Что я думаю?.. Во-первых, я должен сказать, что я не верю в то, что говорят, и что повторять неприятно.

Она. Не верите? У вас есть данные?

Он. Данные? Как вам сказать... Это, во-первых, до такой степени чудовищно, что именно те, кто в это верят, должны бы были иметь данные.

Она. Но репутация Распутина?

Он. Ну что же репутация?.. Все это не мешает ему быть мужиком умным и хитрым... Он держит себя в границах там, где нужно... Кроме того, если бы это было... Ведь императрицу так много людей ненавидит... Неужели бы не нашлось лиц, которые бы раскрыли глаза государю?..

Она. Но если государь знает, но не хочет?

Он. Если государь «знает, но не хочет»,—то революции не миновать. Такого безволия монархам не прощают... Но я не верю—нет, я не верю. Не знаю, быть может, это покажется вам слишком самоуверенным—судить на основании такого непродолжительного впечатления, но у меня составилось личное мнение о ней самой, которое совершенно не вмещается—нет, не вмещается.

Она. Вы говорили с ней?

Он. Да, один раз.

Она. Что она вам сказала?

Он. Меня кто-то представил, объяснив, что я от такой-то губернии. Она протянула мне руку... Затем я увидел довольно беспомощные глаза и улыбку—принужденную улыбку, от которой, если позволено мне будет так выразиться, ее английское лицо вдруг стало немецким... Затем она сказала, как бы с некоторым отчаянием.

Она. По-русски?

Он. По-русски, но с акцентом... Она спросила: «Какая она ваша губерния»?.. Этот вопрос застал меня впрасплох, я меньше всего его ожидал...

Она. Что же вы ответили?

Он. Что я ответил? Банальность... Ведь трудно же так охарактеризовать губернию без подготовки... Я ответил: «Ваше величество, наша губерния отличается мягкостью. Мягкий климат, мягкая природа... Может быть, поэтому и население отличается мягким характером... У нас народ, сравнительно, мирный». Тут я замолчал. Но по выражению ее лица понял, что еще надо что-то сказать... Тогда я сделал то, чего ни в коем случае нельзя было делать... ибо ведь нельзя задавать вопросов... а само-собой, разумеется, нельзя задавать глупых вопросов, а я именно такой и задал...

Она. Ну, что вы?

Он. Да, потому что я спросил: «Ваше величество не изволили быть в нашей губернии?»... Казалось бы, я должен был знать, была ли государыня в нашей губернии или нет.

Она. Что же она сказала?

Он. Ответ получился довольно неожиданный... У нее как-бы вырвалось: «Да нет, я нигде не была. Я десять лет тут в Царском, как в тюрьме».

Она. Даже так? А вы?

Он. После этого мне осталось только сказать: «Мы все надеемся, что когда-нибудь ваше величество удостоит нас своим посещением» ... Она ответила: «Я приеду непременно»...

Она. И приехала?

Он. Не доехала... Она должна была приехать из Киева, но убили Столыпина, и это отпало... О чем мы говорили?..

Она. Вы говорили, что у вас личное впечатление...

Он. Да... Вот личное впечатление, что она и англичанка и немка, вместе взятые... Она и Распутин — нет, это невозможно... Что угодно, но не это ..

Она. Но что же? Я тоже не верю,—но что в таком случае? Мистицизм?

Он. Конечно... У сестры ее, Елизаветы Федоровны, то же самое мистическое настроение, которое не приобрело таких ужасных для России форм только потому, что у Елизаветы Федоровны другой характер, менее властный и настойчивый.

Она. Как так? Почему?

Он. Потому что, если бы императрица была мягкая и покорная...

Она. Как полагается быть женщинам, не правда ли?..

Он. Во всяком случае государыне...

Она. Государыне меньше, чем другим.

Он. Нет, во сто тысяч раз больше...

Она. Почему?

Он. Потому что из всех мужчин на свете самый несчастный государь. Ни у кого нет столько забот и такой ответственности... таких тяжелых переживаний. Его душевный покой должен оберегаться, как святыня... Потому что от его спокойствия зависит судьба России. Поэтому государыня должна быть кротчайшая из кротчайших — женщина без шипов...

Она. К сожалению, этого нельзя сказать про Александру Федоровну... Она, прежде всего, большая насмешница...

Он. Да, говорят...

Она. Она очень хорошо рисует карикатуры... И вы знаете—какая любимая тема?..

Он. Нет...

Она. Она рисует государя в виде «baby» на руках у матери... Это обозначает, что государь — маленький мальчик, которым руководит maman.

Он. Ах, это нехорошо.

Она. Ее любимое выражение: «Ах, если бы я была мужчиной». По-английски это звучит несколько иначе... Это она говорит каждый раз, когда не делают того или другого, что, по ее мнению, следовало бы сделать... Она упрекает царя за его слабость...

Он. Да, я это знаю. Об этом говорилось еще во времена Столыпина... Говорят, в это время в ходу была фраза: «Êtes-vous souverain enfin»? Из этой эпохи мне вспомнился эпизод. Будто бы Ольга Борисовна Столыпина [64] устраивала у себя обеды, так сказать, «не по чину»... Т.-е. у нее обедали «в лентах», а военные не снимали шашек... Это, будто бы, полагается только за царским столом... Об этом немедленно донесли государыне, а государыня сказала государю, прибавив: «Ну что ж, было две императрицы, теперь будет три...»

Она. Это зло ..

Он. Да, к сожалению, это зло... это хуже, чем зло... это остроумно...

Она. ??

Он. Да, потому что из остроумия королев всегда вытекает какая-нибудь беда для королевства...

Она. Но королевам разрешается быть просто умными, надеюсь?...

Он. Только тем женским умом, который, впрочем, самый высший, который угадывает во всяком положении, как облегчить суровый труд мужа... Облегчить, — это вовсе не значит — вмешиваться в дела управления. Наоборот, из этого «вмешивания» рождаются только новые затруднения. Облегчить, это значит устранить те заботы, которые устранить можно...

И первый долг царицы — это абсолютное повиновение царю... Ибо, хотя она и царица, но все же только первая из подданных государя...

Она. Кажется, вы по «домострою»?..

Он. Весьма возможно... Но подумайте сами... Вот говорят, наша императрица большая «абсолютистка»... очень стоит за самодержавие... Но кто же больше, чем она, это самодержавие подрывает? Кто оказывает царю явное неповиновение перед лицом всей страны? По крайней мере, так твердят все... Кто не знает этой фразы: «Лучше один Распутин, чем десять истерик в день»? Не знаю, была ли произнесена эта фраза в действительности, но, в конце концов, это безразлично, потому что ее произносит вся Россия.

Она. Ну и что же? Вывод?

Он. Вывод: дело не в мистицизме, а в характере императрицы. Мистицизм сам по себе был бы неопасен, если бы императрица была «женщина без шипов». Она пожертвовала бы Распутиным, хотя бы и считала его святым старцем. Поплакала бы и рассталась бы сейчас же, в тот же день, когда «подозрение коснулось жены цезаря». А если бы не в первый, так во второй день, когда бы увидела хотя тень неудовольствия на лице государя, ибо его душевный покой — самое важное,— в нем судьба России... Вместо этого — «десять истерик в день». Явное неповиновение, открытый бунт против самодержца и страшный соблазн для всех... «какой же он самодержец»... И невольно в самые преданные... самые верноподданные сердца, у которых почитание престола—шестое чувство, невольно и неизбежно... проникает отрава... Вытравляется монархическое чувство, остается только монархизм по убеждению... холодный, рассудочный... Но это хорошо для натур совершенно исключительных... Все остальные люди живут гораздо больше сердцем, чем умом.

Она. Да, еще бы.

Он. Это ужасно... это просто ужасно...

Она. Но если она действительно подчинилась влиянию Распутина? Ведь утверждают же, что он сильнейший гипнотизер. Если она верит в то, что он спасает и наследника, и государя, и Россию, наконец...

Он. В старину было хорошее для этих случаев слово. Сказали бы, что Гришка «околдовал» царицу. А колдовство изгоняется молитвой. А молиться лучше всего в монастыре...

Она. Монастырь? Да, такие проекты есть... Но если... сам государь... им околдован?

Он. Если так, то нечего делать: мы погибли... Но я не верю в это... У меня нет этого ощущения... Нет, государь

не околдован. Все эти рассказы про «тибетские настойки» — вздор... Он, если околдован, то из себя самого, изнутри...

Она. Как?

Он. Он не может не знать, что делается... Ему все сказано... Его глаза раскрыты... Но он околдован каким-то внутренним бессилием. Ведь подумайте, что бы ему стоило только один раз рассердиться?.. И от этого Распутина ничего бы не осталось... Государыня бы билась в истерике... Хуже будет, когда в истерике забьется Россия... И тогда будет поздно. А теперь... Ах, если бы он рассердился!.. Если бы он один раз ударил кулаком по столу... Чтобы задрожало все кругом, а, главное, чтобы задрожала царица...

Она. Нет, — вы положительно неравнодушны к домострою.

Он. Положительно. И я убежден, что сама царица этого жаждет в глубине души.

Она. Почему вы так думаете?

Он. Потому, что все женщины жаждут самодержца... Я знаю, вы скажете, что это «пошлость»... Но заповеди «не убий» и «не укради» — тоже «пошлость»... Однако, пошлости этого рода обладают таким свойством, что стоит только от них уклониться и начать «оригинальничать», как мир летит вверх тормашками. И Россия скоро полетит... Потому что, только подумайте об этом ужасе. Какая страшная драма происходит на этой почве... Ведь ради слабости «одного мужа по отношению к одной жене» ежедневно, ежечасно государь оскорбляет свой народ, а народ оскорбляет своего государя...

Она. Как?

Он. Да так... Разве это не оскорбление всех нас, не величайшее пренебрежение ко всей нации, и в особенности к нам, монархистам, — это «приятие Распутина». Я верю совершенно, как это сказать... ну, словом, что императрица совершенно чиста... Но ведь тем не менее Распутин грязный развратник... И как же его пускать во дворец, когда это беспокоит, волнует всю страну, когда это дает возможность забрасывать грязью династию ее врагам, а нам, ее защитникам, не дает возможности отбивать эти нападения... Неужели нельзя принять во внимание, так сказать, «уважить» лучшие чувства своих верноподданных? Неужели необходимо топтать их в грязь, неужели нужно заставлять нас краснеть за своего государя?.. И перед врагами внутренними... и перед врагами внешними... а главное... перед солдатами. Это во время самой грозной войны, которую когда-либо вела Россия, это, когда от психологии этих солдат зависит все... И подумайте, какое бессилие наше в этом вопросе. Ведь заговорить об этом нельзя... Ведь офицер не

может позвать свою роту и начать так: «Вот говорят то, другое про Распутина, — так это вздор»... Не может, потому что уже заговорить об этом — величайшее оскорбление. Ну, словом, это невозможно. И тем более невозможно, что может оказаться такой наивный, или представляющийся наивным солдат, который скажет: «Разрешите спросить, ваше благородие, а что говорят про Распутина? Так что это нам неизвестно». Офицеру придется рассказывать,—что ли?.. Ужас, ужас,—безвыходное положение. А сколько офицеров верят в это?..

Она. Да что офицеры... Весь Петербург в это верит. Люди, которые об'ясняют это вот так, как мы с вами, их очень немного... Большинство принимает самое простое, самое грязное об'яснение.

Он. Да, я знаю... И вот это и есть другая сторона драмы... Это ежедневное, ежеминутное оскорбление государя его народом... Ибо эти чудовищные рассказы,—то, что народ поверил в эти гадости,—это тяжкое и длящееся оскорбление всеми нами государя... Оскорбление такое безвыходное, безысходное... Он не может об'яснить, что ничего подобного нет, потому что он не может об этом заговорить... Он не может вызвать на дуэль, потому что цари не дерутся на дуэлях... Да и кого бы он вызвал?.. Всю страну?.. Удивительно, конечно, что никто никогда не заступился за честь государыни... Но это происходит, вероятно, потому, что всякий сознает, что она сама создает обстановку, рождающую эти слухи... И вот этот страшный узел... Государь оскорбляет страну тем, что пускает во дворец, куда доступ так труден и самым лучшим,—уличенного развратника. А страна оскорбляет государя ужасными подозрениями... И рушатся столетние связи, которыми держалась Россия... И все из-за чего?.. Из-за слабости одного мужа к одной жене... Ах, боже мой!..

Она. Что?.. Ну что?..

Он. Вот что... Как ужасно самодержавие без самодержца...

* * *

Вот о чем денно и нощно жужжит Петроград. Однако, несмотря на эту непрерывную болтовню, в сущности, мы очень мало знаем достоверного об этом человеке, который несет нам смерть.

Немцы в нашем положении основали бы бесчисленное число обществ, ферейнов, посвященных изучению Распутина. У нас нет не только ученых обществ, занимающихся «распутиноведением», у нас попросту ничего хорошенько о нем не знают...

* * *

К тому же считается в высшей степени неприличным иметь с ним какие бы то ни было сношения. Поэтому, например, я в глаза его никогда не видел. Личного впечатления не имею.

Между тем, было бы полезно его иметь. Потому что в этом человеке, несомненно, есть две стороны.

Вот, впрочем, то немногое, что я о нем знаю.

* * *

Вот рассказ некоего Р., киевлянина, которого Киев хорошо знает. Так как он был руководителем одной демократически-монархической организации, то о нем говорят всякие гадости, но, по-моему, он старик честный, не глупый, хотя и не очень интеллигентный. Вот что он рассказывал:

— Перед тем, как государь-император и государыня-императрица и Петр Аркадьевич Столыпин должны были приехать в Киев, за несколько дней получаю я телеграмму: «Григорий Ефимович у вас будет жить на квартире»... Я с Распутиным до этого времени не был знаком и не очень был рад, скажу вам по правде. Во-первых, и так много лишнего беспокойства, а у меня забот, вы сами знаете, было много... Потому что я, как председатель, при проезде государя, должен был со своими молодцами распоряжаться, чтобы все было, как надо... А тут еще Распутин... А, кроме того, сами вы изволите знать, что про него рассказывают, а у меня жена, вы знаете... Но, думаю, делать нечего: нельзя не принять... Приехал... Ничего... хорошо себя держит, прилично. Простой человек, всех на «ты» называет... Я его принял, как мог, он мне сейчас говорит: «Ты, милый человек, мне сейчас хлопочи самое как есть первое место, чтобы при проезде государя быть». Я сейчас побежал к господину Курлову[65]... Так да так, вот Распутин изволит требовать... Дали мне билет для него, только сказали, чтобы я смотрел, чего бы не было...

Ну, вот... Поставили меня с моими молодцами на Александровской, около музея, в первом ряду... Среди них я Григория Ефимовича поставил. И молодцам моим сказал, чтобы смотреть за ним, как есть... А я хорошо знал, что уж кого-кого, а нас государь заметит. Потому мои молодцы так уже были выучены, как крикнут «ура», так уже невозможно не оглянуться... От сердца кричали — и все разом... Так оно и было. Вот едет коляска, и как мои молодцы гаркнули, государь и государыня оба обернулись... И тут государыня Григория Ефимовича узнала: поклонилась... А он, Григорий Ефимович, как только царский экипаж стал под'езжать, так стал в воздухе руками водить...

— Благословлять?..

— Да, вроде как благословлять... Стоит во весь рост в первом ряду, руками водит, водит... Но ничего, проехали... В тот же день явился ко мне на квартиру какой-то офицер от государыни к Григорию Ефимовичу: просят, мол, их величество Григория Ефимовича пожаловать. А он спрашивает: «А дежурный кто?» Тот сказал. Тогда Григорий Ефимович рассердился: «Скажи матушке-царице — не пойду сегодня... Этот дежурный — собака. А завтра приду — скажи»... Ну вот, ничего больше вам рассказать не могу... Жил у меня прилично... потом, как все кончилось, очень благодарил и поехал себе... Простой человек, и ничего в нем замечательного не нахожу...

* * *

А вот рассказ о том же событии, но совсем в других тонах.

Осенью 1913 года ко мне в Киеве пришел один человек, которого я совершенно не знал. Он назвал себя почтово-телеграфным чиновником. Бывало у меня в то время очень много народа. Я пригласил его сесть и уставил на него довольно утомленный взгляд. Он был чиновник, как чиновник, только в глазах у него было что-то неприятное. Он начал так:

— Все это я читаю, читаю газеты, и часто о вас думаю... Тяжело вам должно быть?

Мне действительно было несладко в это время, но все же я не понял, о чем он собственно говорит, и ждал, что будет дальше.

— Вот ваши друзья на вас пошли... Господин Меньшиков [66] в «Новом Времени» очень нападает... Да и другие... Это самое трудное, когда друзья... И знаете вы, что вы правы, а доказать не можете... Через это они все нападают на вас... А если бы могли «доказать», то ничего этого бы не было, всех этих неприятностей...

Я теперь догадался, в чем дело. Он говорил о той травле, которая поднялась против меня в правой печати по поводу того, что «Киевлянин» не одобрил затеи Замысловского [67] и Чаплинского [68] заставить русский судебный аппарат служить политической игре в еврейском вопросе. Словом, о той кампании, которую мои единомышленники по многим другим вопросам повели против меня по поводу знаменитого дела Бейлиса [69]. Он продолжал:

— Надо вам «доказать» правду... Я тоже знаю, что не Бейлис убил... Но кто?.. Надо вам узнать, кто же убил Андрюшу Ющинского?..

Он смотрел на меня, и я чувствовал, что его взгляд тяжел и настойчив. Но он был прав. Я ответил:

— Разумеется, для меня, и да разве только для меня, было бы важно узнать, кто убил Ющинского?.. Но как это сделать?

Он ответил не сразу. Он смотрел на меня, точно стараясь проникнуть мне в мозг. Я подумал:

«Экий неприятный взгляд»...

А он сказал:

— Есть такой человек...

— Какой человек?..

— Такой человек, что все знает... И это знает...

Я подумал, что он назовет мне какую-нибудь гадалку-хиромантку. Но он сказал.

— Григорий Ефимович...

Сказал таинственно, понизив голос, но я его сразу не понял. Потом вдруг понял, и у меня вырвалось:

— Распутин?...

Он сделал лицо снисходительного сожаления.

— И вот и вы, как и все... Испугались... Распутин... А ведь он все знает. Я знаю — вы не верите... А вот вы послушайте... Вот я раз шел с ним тут в Киеве, когда он был, по улице на Печерске... Идет баба пьяная-распьяная... А он ей пять рублей дал. Я ему:

— Григорий Ефимович. За что?

А он мне:

— Она бедная, бедная... Она не знает... не знает... У нее сейчас ребенок умер... Прийдет домой — узнает... Она — бедная... бедная, — говорю...

— Что ж, действительно умер ребенок?..

— Умер... Я проверил... Нарочно проверил, спросил ее адрес... А вот, когда государь император был в Киеве, по Александровской улице ехали... Я тогда вместе с ним стоял...

— Где?

— На тротуаре... в первом ряду... Все мне было видно, очень хорошо... Вот, значит, коляска государя ехала... Государыня Григория Ефимовича узнала, кивнула ему... А он ее перекрестил... А второй экипаж — Петр Аркадьевич Столыпин ехал... Так он, Григорий Ефимович, вдруг затрясся весь... «Смерть за ним!... Смерть за ним едет!... За Петром... за ним»... Вы мне не верите?..

Его взгляд был тяжел... Он давил мне на веки. Я не могу сказать, чтобы мне казалось, что он лжет. Я сказал:

— Я не имею права вам не верить... я вас не знаю...

— Верьте мне, верьте... А всю ночь я вместе с ним ночевал, это значит перед театром... Он в соседней комнате через тоненькую стеночку спал... Так всю ночь заснуть мне не дал... кряхтел, ворочался, стонал... «Ох, беда будет, ох,

беда». Я его спрашиваю: «Что такое с вами, Григорий Ефимович?» А он все свое: «Ох, беда, смерть идет». И так до самого света... А на следующий день, — сами знаете... в театре... Убили Петра Аркадьевича... Он все знает, все...

Его взгляд стал так тяжело давить мне на веки, что мне захотелось спать... Он продолжал:

— К нему вам надо... к Григорию Ефимовичу... Он все знает. Он вам скажет, кто убил Ющинского, — скажет... Поверьте мне... вам же польза будет... Пойдите к Григорию Ефимовичу, — поезжайте к нему...

Нет, — что это со мной такое?.. Взгляд его глаз «точно свинцом» давит мне на веки... Хочется спать. И вдруг мысль как-то ослепительно сверкнула во мне: уж не гипнотизирует ли он меня?..

Я сделал усилие, встрепенулся и сбросил с себя что-то. В то же мгновенье он схватил меня за руку...

— Ну и нервный же вы человек, Василий Витальевич!..

Я встал.

— Да, я нервный человек... И потому мне лучше не видаться с Григорием Ефимовичем, который такой же нервный, должно быть, как и я и как вы... До свидания...

Он ушел и больше ко мне не являлся. Но у меня надолго осталось какое-то странное чувство: точно ко мне прикоснулся фрагмент чего-то таинственного, что я бы мог узнать больше, если бы захотел...

Но можно ли свести рассказ этого человека с рассказом Р.? Можно: этот чиновник мог быть одним из «молодцев» Р., мог жить у него на квартире эти дни,—мог стоять за Распутиным во время проезда государя...

* * *

Вот еще один рассказ. Рассказ некоего Г., петербуржца, не имевшего, повидимому, никаких причин пропагандировать Распутина. Он рассказал мне нижеследующее:

— Мы потеряли двух детей почти одновременно. Старшей девочке было шестнадцать, младшей четырнадцать. Моя жена была в ужасном состоянии. Ее отчаяние граничило с сумасшествием. Ей ничем нельзя было помочь. Она совершенно не спала. Доктора ничего не могли сделать. Я страшно за нее боялся. Кто-то мне посоветовал позвать Распутина. Я позвал. И можете себе представить: он поговорил с ней полчаса, и она совершенно успокоилась. Просветлела и вернулась к жизни. Пусть говорят все, что угодно, все это может быть правда, но и это правда—то, что я вам рассказываю: он спас мою жену.

Таких рассказов я слышал несколько. К сожалению, имена мною забыты, почему я их не привожу, за исключением рассказа Г., который помню точно.

* * *

Вот еще рассказ, в котором заметно нечто мистическое.

У баронессы, на Кирочной, где вообще полагалось бывать всему «замечательному», сидел Гришка. Это было за чайным столом. Сидел и разговоры разговаривал. Вдруг чего-то заволновался...

— Не могу, мать моя, не могу...

— Что с вами, Григорий Ефимович?..

Он заерзал, привстал, хотел уйти.

— Куда вы?

— Уйти надо нам... враг идет... сюда идет... Сейчас здесь будет...

Позвонили. И в комнату вошла Машенька Х.

Она сама мне это рассказывала со слов баронессы и прибавила:

— Я Гришку действительно ненавижу...

* * *

— Скажите, что правда во всем этом... о Распутине? Что он действительно имеет влияние?.. Неужели это верно, он пишет «каракули», и эти каракули имеют силу наравне... с высочайшим рескриптом?

У В. изящно-грубоватая речь, мало подходящая к посту товарища министра внутренних дел.

— Правда вот в чем... Распутин прохвост и «каракули» пишет прохвостам... Есть всякая сволочь, которая его «каракули» принимает всерьез... Он тем и пишет... Он прекрасно знает, кому можно написать. Отчего он мне не пишет? Оттого, что он отлично знает, что я его последними словами изругаю. И с лестницы он у меня заиграет, если прийдет. Нет Распутина, а есть распутство. Дрянь мы, вот и все. А на порядочных людей никакого влияния не имеет. Все же, что говорят, будто он влияет на назначения министров, — вздор: дело совсем не в этом... Дело в том, что наследник смертельно болен... Вечная боязнь заставляет императрицу бросаться к этому человеку. Она верит, что наследник только им живет... А вокруг этого и разыгрывается весь этот кабак... Я вам говорю, Шульгин, сволочь — мы... И левые и правые. Левые потому, что они пользуются Распутиным, чтобы клеветать, правые, т.-е. прохвосты из правых, потому, что они, надеясь, что он что-то может сделать, принимают его «каракули»...

А в общем плохо... Нельзя так... Хоть наследник и болен, а все-таки этого господина нельзя во дворец пускать. Но это безнадежно... Говорили сто раз... Ничего не помогает...

* * *

Вот рассказ в другом стиле.

— Я вчера познакомился с Распутиным..,—сказал мне один мой молодой друг, журналист.

— Как это было?

— Да вот как... Он на меня посмотрел, рассмеялся и хлопнул по плечу. И сказал: «Жулик ты, брат»...

Надо сказать, что мой молодой друг, конечно, не жулик. Но ловкий парень из донских казаков с университетским образованием.

— А вы что?

— А я ему говорю: «Все мы жулики. И вы, Григорий Ефимович, — жулик»..—А он рассмеялся и говорит: «Ну, пойдем водку пить».

— И пили?

— Пили. Он не дурак выпить...

— Что же это за человек?

— Да знаете, просто хитрый, умный мужик, и больше ничего... Пил, смеялся...

— Кто ж там был?

— Да масса народа... Говорили речи. Все, конечно, в честь его. Он ничего, слушал... Только раз, когда мой патрон, вы его знаете, начал говорить, что вот земля русская была темна и беспросветна, а, наконец, взошло солнце, — Григорий Ефимович, — он его вдруг остановил: «Ври, брат, — ври, — да не слишком»...

* * *

Член Государственной Думы К., очевидно, не страдает теми предрассудками, которыми опутаны мы все. Вчера он пьянствовал с Гришкой.

То, что он рассказывает, — определенно—водка и бабы...

— Кто же эти «бабы»?

Увы, — это не демимонденки.

Распутин есть функция распутности некоторых дам, ищущих... «ощущений». Ощущений, утраченных вместе с вырождением.

* * *

Вырождающиеся женщины часто страдают от того, что они ничего не чувствуют. «Нередко они объясняют это тем, что муж — «обыкновенный, серый человек». Иногда это действи-

тельно так. У некоторых женщин чувственность просыпается только тогда, когда к ней прикоснется «герой». Герой нашего времени, разумеется. Ибо для каждой эпохи — свои герои. Это, вероятно, те, кто дают для данной эпохи наиболее нужное потомство. В этих случаях инстинкт женщины иногда на правильном пути. Она бессознательно стремится спасти вырождающуюся расу.

Героя не всегда бывает легко найти. Любовники, которые на первых порах берутся из своего круга, нередко оказываются такими же серыми людьми, как и собственный муж... Тогда начинают искать в других слоях, выше или ниже себя... Те, что пониже, могут искать выше и ожидать своего «принца». Но те, кто окружены принцами, должны искать ниже, потому что люди своего круга уже испытаны, — они оказались слишком серыми, вернее слишком блестящими, т. е. вылощенными.

Во всяком случае в поисках «за истинным счастьем», о котором женщины слышат от своих более удачливых подруг,— «мятежные души» мятутся в стиле Вербицкой [70]. Каждый новый «интересный» дает надежду, что это, быть может, «он»... Его берут, но увы, — опять ошибка... «Ключи счастья» не найдены... Мятежные души мятутся дальше и становятся все смелее. Они начинают презирать условности, классовую рознь, наследственные предрассудки и даже требования эстетики и чистоплотности...

И доходят до Распутина.

Разумеется, к этому времени они уже глубоко развращены, пройдя длинный путь великосветской проституции...

* * *

— Была мама — очень красивая... Наташа — прелесть хорошенькая, я... конечно, не хорошенькая...

— Прикажете противоречить?

— Не надо... Словом, нас было трое и Гришка...

— Где ж это было?

— Это было у отца протоиерея... Он очень хорошо служил, вроде как отец Кронштадтский... Нервно так, искренно... И вообще он был очень хороший человек... Ему часто говорили: «Отчего вы не позовете к себе Григория Ефимовича?» А он все не хотел и говорил, что им не о чем разговаривать... Наконец, позвал... И вот мы тогда тоже были...

— И вы его видели?..

— Ну да, как же... за одним столом сидела...

— Какой же он?

— Он такой широкоплечий, рыжий, волосы жирные...

лицо тоже широкое... Но глаза!.. они маленькие, маленькие, но какие!

— Неприятные?

— Ужасно неприятные... Неизвестно какие, не то коричневые, не то зеленые, но когда посмотришь, — так неприятно, что даже сказать нельзя. И Наташа то же самое говорила... Она его еще раз видела в Александро-Невской лавре, он на нее так посмотрел, что она во второй раз побежала прикладываться... чтобы «очиститься»... А одет он шикарно, шелковая рубашка и все такое... На нем вроде как поддевка и все особенное...

— Что же, он себя прилично держал?

— Вполне прилично. Он все разговаривал с батюшкой, все какие-то духовные разговоры... Но я вам вот что скажу... Есть такая М-анна...

— Русская?

— Ну да, русская...

— Почему же она М-анна...

— Потому что она просто Мария... это она сама себя так называла... Она дочь графини П. Вы знаете, кто графиня П.?

— Знаю.

— Ну так вот... Эта М-анна носила красную юбку, — вот до сих пор, задирала ноги выше головы, короткие волоса — цвета перекись, лицо не без косметики, и вообще была совершенно, совершенно неприличная женщина. Была она, как это говорится, «развратная до мозга костей», и в лице это у нее даже было... И подумайте, она бывала при Дворе и все такое... Сходилась, расходилась, то с тем, то с другим; в конце концов добралась до Распутина... И другая есть — Г. — она дочь сенатора... Эта немножко лучше, но тоже очень низко опускалась... Все-таки с ней можно было разговаривать... И вот она мне рассказывала про Распутина, что он совершенно особенный человек, что он дает ей такие ощущения...

— Что же она... была с ним... как это сказать... в распутинских отношениях?..

— Ну да, конечно... И вот она говорила, что все наши мужчины ничего не стоют...

— А она, что же, всех «наших мужчин» испытала?

— О, почти что... И она говорила, что Распутин это нечто такое несравнимое... Я ее тогда спросила: «Значит, вы его очень любите, Григория Ефимовича? Как же вы его тогда не ревнуете? Он ведь и с М-анной, и с другими, и со всеми»... Конечно, я была дура... Она ужасно много смеялась надо мной, говорила мне, что я совсем глупенькая и «восторженная»... И говорила, что много таких есть, которые совершенно погру-

зились в мистицизм и ничего не понимают и не подозревают даже, что такое на самом деле Распутин.

* * *

Итак — вот...

Хоровод «мятежных душ», неудовлетворенных жизнью, любовью. В поисках за «ключами счастья» одни из них ударяются в мистицизм, другие в разврат... Некоторые и в то и в другое... Увы, они танцуют на вершинах нации... свой ужасный danse macabre. Это своеобразный «журавль» начала века — grand rond или лучше сказать cercle vicieux — вьется круговым рейсом через столицу: от дворцов к соборам, от соборов к притонам и обратно. Этот столичный хоровод естественно притягивает к себе из глубины России, — с низов, родственные души... Там, на низах, издревле, с незапамятных времен ведутся эти дьявольские игрища, где мистика переплетается с похотью, лживая вера с истинным развратом... Что же удивительного, что санкт-петербургская гирлянда — мистически-распутная, притянула к себе Гришку Распутина, типичного русского «хлыста»!.. Вот на какой почве произошло давно жданное слияние интеллигенции с народом!.. Гришка включился в цепь и, держа в одной руке истеричку-мистичку, а в другой истеричку-нимфоманку, украсил балет Петрограда своим двуликим фасом — кудесника и сатира...

Ужас в том, что хоровод этот пляшет слишком близко к престолу... можно сказать, у подножия трона... Благодаря этому, Гришка получил возможность оказать свое странное влияние на некоторых великих княгинь... Эти последние ввели его к императрице...

Хлыст не обязан быть идиотом... Хлыст может быть и хитрым мужиком... Гришка прекрасно знал, где каким фасом своего духовного обличия поворачиваться...

Во дворце его принимали как святого старца, чудодейственного человека, предсказателя.

«Скажи мне, кудесник, любимец богов»...

Императрица во всякое время дня и ночи дрожала над жизнью единственного сына.

Кудесник очень хорошо все понял и ответил:

— Отрок Алексей жив моей грешной молитвой... Я, смиренный Гришка, послан богом охранять его и всю царскую семью: доколе я с вами, не будет вам ничего худого...

«Грядущие годы таятся во мгле,
Но... вижу твой жребий на светлом челе...»

И никто не понял, когда этот человек переступил порог царского дворца, что пришел тот, кто убивает...

Он убивает потому, что он двуликий...

Царской семье он обернул свое лицо «старца», глядя в которое царице кажется, что дух божий почивает на святом человеке... А России он повернул свою развратную рожу, пьяную и похотливую, рожу лешего-сатира из тобольской тайги... И из этого — все...

Ропот идет по всей стране, негодующий на то, что Распутин в покоях царицы...

А в покоях царя и царицы — недоумение и горькая обида... Чего это люди беснуются?.. Что этот святой человек молится о несчастном наследнике?.. О тяжело-больном ребенке, которому каждое неосторожное движение грозит смертью — это их возмущает. За что?.. Почему?..

Так этот посланец смерти стал между троном и Россией... Он убивает, потому что он двуликий... Из-за двуличия его обе стороны не могут понять друг друга... Царь и Россия с каждым часом нарастающей обиды в сердце ведут друг друга за руку в пропасть...

***

Это было во дворце великого князя Николая Михайловича на набережной... Большая, светлая комната, не имевшая определенного назначения, служившая одновременно и кабинетом и приемной... Иногда тут даже завтракали совершенно интимно, — за круглым столиком...

Так было и на этот раз. За кофе великий князь заговорил о том, для чего он нас собственно позвал, — Н. Н. Львова и меня:

— Дело обстоит так... Я только что был в Киеве... И говорил с вдовствующей императрицей... Она ужасно обеспокоена... Она знает все, что происходит, и отчасти после разговора с ней я решился... Я решился написать письмо государю... Но совершенно откровенно... до конца... Все таки я значительно старше, кроме того, мне ничего не нужно, я ничего не ищу, но не могу же я равнодушно смотреть... как мы сами себя губим... Мы ведь идем к гибели... В этом не может быть никакого сомнения... Я написал все это... Но письмо не пришлось послать... Я поехал в Ставку и говорил с ним лично. Но так сказать, чтобы это было более определенно... к тому же я лучше пишу, чем говорю... я просил разрешения прочесть это письмо вслух... И я прочел... Это было первого ноября...

Великий князь стал читать нам это письмо.

Что было в этом письме?.. Оно было написано в сердечных родственных тонах — на «ты»... В нем излагалось об-

щее положение и серьезная опасность, угрожающая трону и России. Много места было уделено императрице. Была такая фраза: «Конечно, она не виновна во всем том, в чем ее обвиняют, и, конечно, она тебя любит»... Но... но страна ее не понимает, не любит, приписывает ей влияние на дела, словом, видит в ней источник всех бед...

Государь выслушал все до конца. И сказал:

— Странно... Я только что вернулся из Киева... Никогда, кажется, меня не принимали, как в этот раз...

На это великий князь ответил:

— Это, быть может, было потому, что вы были одни с наследником... императрицы не было...

Великий князь стал рассказывать еще... Много ушло из памяти — боюсь быть неточным.

В конце-концов Львов спросил:

— Как вы думаете, ваше высочество, — произвели впечатление ваши слова?

Великий князь сделал характерное для него движение.

— Не знаю... может быть... боюсь, что нет... Но все равно... Я сделал... я должен был это сделать...

* * *

— Вы уезжаете?

Я уезжал в Киев. Пуришкевич остановил меня в Екатерининском зале Таврического дворца. Я ответил:

— Уезжаю.

— Ну, всего хорошего.

Мы разошлись, но вдруг он остановил меня снова.

— Послушайте, Шульгин. Вы уезжаете, но я хочу, чтобы вы знали... Запомните 16 декабря...

Я посмотрел на него. У него было такое лицо, какое у него уже раз было, когда он мне сказал одну тайну.

— Запомните 16 декабря...

— Зачем?

— Увидите, прощайте...

Но он вернулся еще раз.

— Я вам скажу... Вам можно... 16 мы его убьем...

— Кого?

— Гришку.

Он заторопился и стал мне об'яснять, как это будет. Затем:

— Как вы на это смотрите?

Я знал, что он меня не послушает. Но все же сказал:

— Не делайте...

— Как? Почему?

— Не знаю... Противно...

— Вы белоручка, Шульгин.

— Может быть... Но может быть и другое... Я не верю во влияние Распутина.

— Как?

— Да так... Все это вздор. Он просто молится за наследника. На назначения министров он не влияет. Он хитрый мужик...

— Так, по-вашему, Распутин не причиняет зла монархии?

— Не только причиняет, но он ее убивает.

— Тогда я вас не понимаю...

— Но ведь это ясно. Убив его, вы ничему не поможете... Тут две стороны. Первая — это то, что вы сами назвали «чехардой министров». Чехарда происходит или потому, что некого назначать, или кого ни назначишь, все равно никому не угодишь, потому что страна помешалась на людях «общественного доверия», а государь как раз к ним доверия не имеет... Распутин тут не при чем.. Убьете его, — ничто не изменится...

— Как не изменится?..

— Да так... Будет все по-старому... Та же «чехарда министров». А другая сторона — это то, чем Распутин убивает: этого вы не можете убить, убив его... Поздно...

— Как не могу? Извините, пожалуйста... А что же, вот так сидеть?.. Терпеть этот позор. Ведь вы же понимаете, что это значит? Не мне говорить, — не вам слушать. Монархия гибнет... Вы знаете, я не из трусливых... Меня не запугаешь... Помните вторую Государственную Думу... Как тогда ни было скверно, а я знал, что мы выплывем... Но теперь я вам говорю, что монархия гибнет, а с ней мы все, а с нами — Россия... Вы знаете, что происходит? В кинематографах запретили давать фильму, где показывалось, как государь возлагает на себя георгиевский крест. Почему?.. Потому что, как только начнут показывать, — из темноты голос: «царь-батюшка с Егорием, а царица-матушка с Григорием...»

Я хотел что-то сказать. Он не дал:

— Подождите. Я знаю, что вы скажете... Вы скажете, что все это неправда про царицу и Распутина... Знаю, знаю, знаю... Неправда, неправда, но не все ли равно? я вас спрашиваю. Пойдите — доказывайте... Кто вам поверит? Вы знаете, Кай Юлий был не дурак: «И подозрение не должно касаться жены Цезаря»... А тут не подозрение... тут...

Он вскочил:

— Так сидеть нельзя. Все равно. Мы идем к концу Хуже не будет. Убью его, как собаку... Прощайте...

* * *

Когда наступило 16-е декабря, они его действительно убили...

Это была попытка спасти монархию старо-русским способом: тайным насилием...

Весь XVIII век и начало XIX-го прошли под знаком дворцовых переворотов. Когда «случайности рождения» (выражение Ключевского [74]) подвергали опасности «самую совершенную форму правления — единодержавие», какие-то люди, окружавшие престол, исправляли «случайности рождения» тайным насильственным способом... При этом иногда обходилось без убийств, иногда нет...

В начале XX века эти люди стали мельче... На дворцовый переворот их не хватило... вместо этого они убили Распутина...

Цели это, конечно, не достигло. Монархию это не могло спасти потому, что распутинский яд уже сделал свое дело... Что толку убивать змею, когда она уже ужалила...

Но при всей его бесцельности, убийство Распутина было актом глубоко-монархическим.

Так его и поняли...

Когда известие о происшедшем дошло до Москвы (это было вечером) и проникло в театры, публика потребовала исполнения гимна.

И раздалось, может быть, в последний раз в Москве:

«Боже, царя храни»...

Никогда эта молитва не имела такого глубокого смысла..

Предпоследние дни «Конституции».

(Продолжение.)

(Год — 1917. Месяцы — январь, февраль. Чисел не помню.)

Я получил в Киеве тревожную телеграмму Шингарева: он просил меня немедленно вернуться в Петроград.

Кажется, я приехал 8-го января. В этот же день вечером Шингарев пришел ко мне.

— В чем дело, Андрей Иванович?

— Да вот плохо. Положение ухудшается с каждым днем... Мы идем к пропасти... Революция — это гибель, а мы идем к революции... Да и без революции все расклеивается с чрезвычайной быстротой... С железными дорогами опять катастрофически плохо... Они еще кое-как держались, но с этими морозами... Морозы всегда понижают движение, — а тут как на грех — хватило!.. График падает. В Петрограде уже серьезные заминки с продовольствием... Не сегодня-завтра не станет хлеба совсем... В войсках недовольство. Петроградский гарнизон ненадежен. Меж тем, как вы знаете, наше военное могущество, техническое, выросло, как никогда... Наше весеннее наступление будет поддержано невиданным количеством снарядов... Надо бы дотянуть до весны... Но я боюсь, что не дотянем...

— Надо дотянуть...

— Но как? Зашло так далеко, пропущены все сроки, я боюсь, что если наша безумная власть даже пойдет на уступки, если даже будет составлено правительство из этих самых людей доверия, то это не удовлетворит... Настроение уже перемахнуло через нашу голову, оно уже левей прогрессивного блока... Придется считаться с этим... Мы уже не удовлетворим... Уже не сможем удержать... Страна уже слушает тех, кто левей, а не нас... Поздно...

— Чтобы додержаться, придется взять разгон... Знаете, на яхте... когда идешь, скажем, левым галсом, перед поворотом на правый галс, надо взять еще левей, чтобы забрать ход... Если наступление будет удачно, мы сделаем поворот и пойдем правым галсом... Чтобы иметь возможность сделать этот

поворот, надо забрать ход. Для этого, если власть на нас свалится, придется искать поддержки расширением прогрессивного блока налево...

— Как вы себе это представляете?

— Я бы позвал Керенского [75].

— Керенского? В качестве кого?

— В качестве министра юстиции, допустим... Сейчас пост этот не имеет никакого значения, но надо вырвать у революции ее главарей... Из них Керенский — все же единственный... Гораздо выгоднее иметь его с собой, чем против себя... Но ведь это только гадание на кофейной гуще... Реально ведь никаких нет признаков, что правительство собирается, говоря попросту, позвать нас?

— Реально — никаких... Но напуганы все сильно.. Там большое смятение... Надо быть ко всему готовым.

* * *

Ко мне пришел один офицер.

— Зная вас, я хочу вас предупредить.

— О чем?

— О настроении петроградского гарнизона... Вы не смотрите на то, что на каждой площади и улице они «печатают» на снегу... С этой стороны за них взялись... Но этим их не переделаешь... Вы знаете, что это за публика? Это маменькины сынки!.. Это — все те, кто бесконечно уклонялись под всякими предлогами и всякими средствами... Им все равно, лишь бы не итти на войну... Поэтому вести среди них революционную пропаганду — одно удовольствие... Они готовы к восприятию всякой идеи, если за ней стоит мир. А, кроме того, и объективные причины есть для неудовольствия. Люди страшно скучены. Койки помещаются в три ряда, одна над другой, как в вагоне третьего класса. А ведь все они имеют удобные квартиры здесь. И вот беснуются. Пойдет к себе домой и приходит совершенно красный. Для чего их тут держат? Это самый опасный элемент. Чуть-что — они взбунтуются. Вот помяните мое слово. Гнать их надо отсюда, как можно скорей.

Был морозный, ясный день. Едучи в Думу, я, действительно, чуть ли не на каждой улице видел эти печатающие шеренги. Под руководством унтер-офицеров они маршировали взад и вперед, приладонивая снег деревянными, автоматическими движениями.

Теперь я смотрел на них с иным чувством.

И вспомнилось мне, как еще в 1915 году жаловались мне на одну дивизию, набранную в Петрограде. Ее иначе не назы-

вали как «С.-Петербургское беговое общество». Куда ни пошлют ее в бой, она непременно убежит.

* * *

Я не помню хорошенько, когда это было. Кажется, в конце января. Где? Тоже не помню... Где-то на Песках. Это была большая комната. Тут были все. Во-первых, члены бюро прогрессивного блока и другие видные члены Думы: Милюков, Шингарев, Ефремов [76], кажется, Львов, Шидловский, кажется, Некрасов [77]... Кроме того, были деятели Земгора. Был и Гучков [78], кажется, князь Львов, Д. Щепкин [79] и еще разные, которых я знал и не знал.

Сначала разговаривали — «так», потом сели за стол... Чувствовалось что-то необычайное, что-то таинственное и важное. Разговор начался на ту тему, что положение ухудшается с каждым днем и что так дальше нельзя... Что что-то надо сделать... Необходимо сейчас же.. Необходимо иметь смелость... чтобы принять большие решения... серьезные шаги...

Но гора родила мышь... Так никто не решился сказать... Что они хотели? Что думали предложить?

Я не понял в точности... Но можно было догадываться... Может быть, инициаторы хотели говорить о перевороте сверху, чтобы не было переворота снизу. А, может быть, что-нибудь совсем другое.

Во всяком случае — не решились... И, поговорив, разъехались... У меня было смутное ощущение, что грозное близко... А эти попытки отбить это огромное — были жалки... Бессилие людей, меня окружавших, и свое собственное в первый раз заглянуло мне в глаза. И был этот взгляд презрителен и страшен...

* * *

Н. сказал мне, что он хотел бы поговорить со мной наедине, доверительно... Я пригласил его к себе.

Он пришел. У него на моложавом лице всегда были большие розовые пятна, — не знаю, от чахотки или от здоровья.

Он начал издалека и, так сказать, à mots couverts... Но я его понял. Он зондировал меня насчет того, о чем воробьи чирикали за кофе в каждой гостиной, то-есть о дворцовом перевороте... Я знал, что бесформенный план существует, но не знал ни участников, ни подробностей. Впрочем, слышал я о так называемом «морском» плане. План этот состоял в том, чтобы пригласить государыню на броненосец под каким-нибудь предлогом и увести ее в Англию, как будто по ее собственному желанию. По другой

версии—уехать должен был и государь, а наследник должен был быть об'явлен императором. Я считал все эти разговоры болтовней.

Н. говорил о том, что государственный корабль в опасности и, можно сказать, гибнет, и что, поэтому требуются особые, исключительные меры для спасения экипажа и драгоценного груза.

— Если бы вам были предложены такие исключительные из ряда вон выходящие меры для спасения экипажа и груза, а ведь вместе они составляют русский народ,— пошли бы вы на эти совершенно невмещающиеся в обыденные рамки, совершенно экстренные меры, пошли бы вы на них для спасения родины [80]?

Я ответил не сразу, потому что понял сразу. Мне вдруг вспомнилось, как однажды Столыпин произнес свою знаменитую фразу: «Никто не может отнять у русского государя священное право и обязанность спасать в дни тяжелых испытаний богом врученную ему державу». Я вспомнил, как бешено обрушились на Столыпина тогда кадеты за эту «неконституционную фразу». Теперь они же, кадеты, или один из них, предлагают для спасения этой же державы меры, настолько менее конституционные сравнительно с третьим июня, насколько шлюпка меньше броненосца.

Наконец, я ответил вопросом:

— Вы читали Жюль-Верна [81]?

— Читал, конечно, но что именно?..

— Это не важно, потому что я не уверен, что это из Жюль-Верна... Во всяком случае это теория моряков.

— Какая теория?

— Две теории... Или, вернее, две школы. Одна школа— это «суденщики», а другая «шлюпочники»...

— Объясните...

— Это касается морских бедствий... кораблекрушений. «Шлюпочники» утверждают, что, когда корабль терпит так называемое «кораблекрушение», то надо пересаживаться на шлюпки и этим путем искать спасения.

— Это понятно... А «суденщики»?..

— А «суденщики» говорят, что надо оставаться на судне...

— Да ведь оно гибнет!..

— Все равно... Они говорят, что из десяти случаев в девяти шлюпки гибнут в море...

— Но один шанс все же остается.

— Они говорят, что один шанс остается и у гибнущего корабля, потому не стоит беспокоиться...

— А вывод?

— Вывод тот, что я принадлежу к школе «суденщиков», а потому останусь на судне и в шлюпки пересаживаться не хочу...

Он помолчал.

— В таком случае забудем этот разговор.

— Забудем...

* * *

Однажды, это было, кажется, в феврале, рано утром ко мне пришли неожиданные посетители: один был бывший министр, другой товарищ министра.

П. Н. был единственным из министров, который одинаково был любезен и «двору», и «общественности». Он был умен, ловок, очень тактичен, по убеждениям—консерватор, но понимал мудрость латинской поговорки»: bis dat, qui cito dat». Сделав в сущности пустяковые уступки по своему министерству, он стал весьма популярен и мог претендовать на то, что пользуется «общественным доверием». Если бы его несколько месяцев тому назад назначили премьером, быть может, ему удалось бы поладить с Государственной Думой.

— Вы знаете, — начал он, — мои воззрения: конечно, я не либерал... Те, что так думают, очень ошибаются. Но есть вещи и вещи... Есть положения, когда просто невыгодно упрямиться. Программа Государственной Думы, т.-е. прогрессивного блока, ведь она в сущности очень приемлема...

— Вздор! Пустяки! — сказал товарищ министра. Все это, конечно, можно дать без всякого колебания государства российского...

— За исключением одного пункта, — сказал министр. Это о власти. Вы понимаете, — тут заупрямились... Я сказал государю все... Я об'яснил, что мы все, наша семья, традиционно преданы престолу. Но что мы всегда были — земщина [82]. Что я отнюдь не либерал, но считаю, что с «земщиной» нужно считаться. В особенности теперь, во время войны. И что Дума, олицетворяющая «земщину», стоит на строго патриотической позиции. Что она взяла на свои плечи всю тяжесть лозунга — «война до победного конца»... И что правительству надо итти с Думой и что поэтому я прошу отставки... Словом, все, что можно было сказать... Со мной лично были в высшей степени милостивы... Но... но это безнадежно .. то-есть безнадежно--насчет власти...

— Поймите, Шульгин, что в этом все, — сказал товарищ министра. Все в этом пункте, все в том, что вы хотите, чтобы правительство было из лиц общественного доверия, другими словами, от «блока». Здесь вся загвоздка! А что касается

остальной вашей программы, так только проведите ее через Думу, все будет принято правительством...

— В той же части вашей программы, — сказал министр, — которая может быть проведена правительством собственной властью, то она, например, по ведомству народного просвещения, уже осуществлена. Впрочем, вы очень деликатно выразились об этом вопросе...

— «Вступление на путь постепенного ослабления». Кто это выдумал? Это почти гениально, — сказал товарищ министра.

— Но что касается вопроса о власти, — сказал министр, — увы! — здесь стенка!.. И вот, смысл нашего посещения нижеследующий... Мы, В. М. и я, достаточно вас знаем... Если Милюков и другие могут иметь какие-то мотивы, старые навыки борьбы с властью quand même, то вы, конечно, преследуете одну цель — благо родины... А это значит в данную минуту: как-нибудь довести войну до конца, потому что иначе...

— Иначе России — конец, — сказал товарищ министра.

— И вот, если дело не выходит, — продолжал министр, — если стенка, — как быть? Мы хотели вам сказать: не обостряйте отношений... Ведь все равно — в лоб не возьмете...

— Шульгин, вы знаете! — как дети, когда «играют». Вдруг заупрямятся все... и вот зашли в тупик: ни тот ни другой не уступают. Вдруг один кричит: «я умнее!» и уступает... И разрешен тупик, и продолжается игра... Крикните — «я умнее» и уступите... Вернее — отступите... на время хотя бы... Вы правы, вы совсем правы... Мы с вами согласны во всем... Но если нельзя...

Они сидели против меня честные и встревоженные... сильно встревоженные.

— Положение плохое, — сказал министр, — До чего мы дойдем?

— Доиграемся! — сказал товарищ министра.

Я отвечал.

— Вы знаете, я состою в «совещании по государственной обороне». У нас сейчас столько снарядов, сколько никогда не было. Маниковский недавно объяснил: если взять расчет по Вердену [83] (ту норму, сколько в течение пяти месяцев верденское орудие выпускало снарядов в сутки) и начать наступление по всему фронту, т.-е. от Балтийского моря до Персии, то мы можем по всему фронту из всех наших орудий поддерживать верденский огонь в течение месяца... У нас сейчас на складах тридцать миллионов полевых...

— Великолепно, — сказал товарищ министра.

— Весной, повидимому, начнется всеобщее наступление... Есть все шансы, что оно будет удачно... Если это будет

так, то тогда вообще все спасено, — можно хоть прогнать Государственную Думу...

— И прогонять не придется, потому что на радостях все забудется.

— Значит, весь вопрос — продержаться два-три месяца... Не допустить взрыва... Потому что, если наступление будет неудачное, взрыв все равно будет.

— Будет, — сказал товарищ министра.

— Весьма возможно... — сказал министр.

— Непременно будет. Я недавно из Киева... Люди с ума сошли. Вы знаете, Киев достаточно черносотенный... И вот меня ловили за рукава люди самые благонамеренные: «Когда же, наконец, вы их прогоните»? Это они про правительство... И вы знаете, еще хуже стало, когда Распутина убили... Раньше все валили на него... А теперь поняли, что дело вовсе не в Распутине. Его убили, а ничего не изменилось. И теперь все стрелы летят прямо, не застревая в Распутине... Итак, надо выиграть время... Два—три месяца...

— Это так, — сказал министр, но как же это сделать?

— Вот тут-то и начинается вопрос. Было два пути... Первый путь — это Думу свести на нет. Правительство могло это сделать, не созывая ее. Может быть, и сама Дума могла это сделать, так сказать, отступив: предоставив правительству самому стать лицом к лицу с нарастающим неудовольствием России.

— Нет, — сказал товарищ министра, — этого Дума не могла сделать. Если большинство так бы и сделало, левые и кадеты подняли бы крик, только в гораздо более резкой форме.

— Вот в том-то и дело... В 1915 году во время великого отступления, когда созвали Думу, для нас, правого крыла, стал вопрос: или стать на сторону правительства, конечно, виноватого в непредусмотрительности и в бездарности, или же, признав справедливым нарастающее неудовольствие, попытаться ввести его в наименее резкие, в самые приемлемые формы... Другими словами, недовольство масс, которое легко могло бы перейти в революцию, подменить недовольством Думы... Наша цель была, чтобы массы оставались покойными, так как за них говорит Дума... Таким образом и создался прогрессивный блок. Этим шагом мы приковали кадет к минимальной программе. Так сказать, оторвали их от революционной идеологии, свели дело к пустякам. Но кадеты, с другой стороны, вовлекли нас в борьбу за власть... Мы хотели стать между улицей, и я бы сказал — между армией, в которой сильнейшее недовольство на «тыл», то-есть на правительство,—и властью... Мы хотели успокоить армию, что ее никто не предаст, и что

о ней позаботятся, так как на страже ее интересов стоит Дума. Когда я уезжал с фронта в 1915 году, это был всеобщий голос: «Поезжайте и позаботьтесь, чтобы не было Мясоедовых и Сухомлиновых[84], а были снаряды... Мы не хотим умирать с палками в руках». Все это я говорю к тому, чтобы объяснить, почему мы избрали этот путь... Путь, так сказать, «суда», вместо «самосуда». Путь парламентской борьбы вместо баррикад...

— А вы не думаете, что так вы скорее дойдете до баррикад?

— Вот в этом-то и вопрос. Что мы — сдерживаем или разжигаем?.. Мне всегда казалось, что сдерживаем. Мне казалось, что мы такая цепь, знаете, когда солдаты берутся за руки. Конечно, нас толкают в спину и заставляют двигаться вперед. Но мы упираемся. Держим друг друга за руки и не позволяем толпе прорваться... Так мы идем, упираясь, а нас давят в спину уже полтора года... Бог его знает, если бы мы не сделали этой цепи, может быть, уже давно толпа прорвалась бы... Не забудьте, что цепь все время кричит: «Все для войны»... И этот наш вопль обращен одинаково к обеим сторонам: от армии мы требуем «всех жертв», а от правительства «хоть немного жертвы»... Успокаивает ли это или разжигает? Кто знает? Мне кажется — все-таки успокаивает. Ведь смотрите... до сих пор ни одного покушения. А помните 1905 год? Тогда дождило бомбами... Теперь ни одного бунта, — пока... А помните, тогда?.. Теперь наиболее бунтарским образом повели себя те, кто убили Распутина: они совершили первый и единственный пока акт террора. Значит, можно предполагать, что буйный элемент до известной степени считается с Думой и не делает, пока она говорит. Додержимся ли! Будем надеяться, что додержимся. А если не додержимся?.. А если не додержимся, тогда...

— Тогда—конец! А потому, даже принимая вашу схему,— не обостряйте...

— Да, конечно... Не думаю, чтобы и в планы кадет входило бы обострять. Ведь они знают: головы жирондистов[85] оказались в одной корзине с монархистами...

— Они дают себе отчет в этом?

— Вполне... Они боятся революции. Ведь они три года кричали: «Все для войны». А следовательно, в случае революции это им припомнится. Жребий был брошен в 1915 году. А теперь что бог даст. Впрочем, разумеется, я буду, насколько могу, умерять блок, но если вы можете, действуйте там...

* * *

Я не могу сказать, чтобы это было зеседание, хотя позвали меня собственно на заседание. Я не могу также вспомнить, где это было. Но было это в каком-то беспорядочном учреждении, которое не могло не иметь отношения к Земгору [86], ибо здесь были налицо все земгорские элементы: горы ящиков, горы барышень, стучащих на машинках, и какие-то господа в очках, представлявшие доклады, пересыпанные цифрами, через которые все же ясно чувствовалось, что докладчики проводят одну заранее и сверху приказанную тенденцию, ничего общего с цифрами не имеющую...

Дело шло о ценах на хлеб. Тут были кадетствующие элементы, которые питали ко мне некоторое доверие; поэтому-то меня и позвали. Господин в очках, человек третьего элемента, левее кадет, бормотал свой доклад, который был только предлогом, чтобы начать обмен мнений. И обменивались. Все больше насчет того, что хлеб крестьяне не везут потому в достаточном количестве, что при «этом режиме», вообще, ничего не может быть.

Я живо представлял себе своих волынских Бизюков и Сопрунцов, как они не повезут хлеб из-за того, что председатель Совета Министров — князь Голицын [87], а не Милюков. Я понимал, что это чепуха. Заминка с хлебом происходила по моему мнению потому, что не повышали цену в то время, когда уже пришел срок ее повысить. Это я высказал.

Кто-то из господ левее кадетов не преминул мне возразить. Я не слушал его слов, потому что по его глазам я прекрасно видел, в чем дело. У этих высосанных злостью людей — «левей кадетов», неистребимая ненависть, бессмысленная и жгучая... к помещикам. И так как от повышения цен на хлеб могли бы в некоторой мере выиграть и помещики (хотя подавляющее большинство хлеба—крестьянское), то эти озлобленные существа готовы были на что угодно, но только не на повышение цен. И мои возражения эти узенькие, конечно, рассматривали только как мнение «агрария». Впрочем, это общеизвестно...

Но меня поразил Шингарев.

Он встал и с влажными от вдохновения глазами произнес великолепную речь, горячую, прочувствованную, которую, право не стоило метать перед девятью, и так убежденными, и десятым, неубедимым никаким красноречием... Но он говорил, и голос его то мягкий, задушевный, то раскатистый, звенел о том, что неужели я не чувствую, что нужно одно: нужен порыв, нужен под'ем, под'ем, который будет, когда сбудется мечта, когда, нако-

нец, у власти появятся другие, светлые люди, разумные, любящие свою родину и уважающие свободу великого народа, и что тогда в этот день хлеб неудержимыми реками потечет туда, куда ему следует. А иначе, т.-е. «рублем», ничего не сделаешь...

Шингарев был очень хорош в этом своем «контр-рублевом» вдохновении, он был подкупающе мягок и увлекательно темпераментен.

По окончании его удивительной речи я сказал коротко:

— Я остаюсь при своем мнении. Надо назначить три рубля за пуд хлеба вместо двух пятидесяти...

Увы, прошло всего несколько дней, совершилась революция, и министр Шингарев первым делом назначил три рубля за пуд хлеба вместо двух пятидесяти... Ибо, несмотря на «сбывшуюся мечту», хлеб не двинулся.

* * *

Государственная Дума должна была возобновить свою сессию в начале февраля. Ко дню ее открытия ожидали выступлений. Главным образом, опасались рабочих. Кажется 10-го февраля — появилось открытое письмо П. Н. Милюкова к рабочим Петрограда [88]. В этот день, а может быть днем раньше или позже, появился «приказ» [89] генерала Хабалова, градоначальника Петрограда. Странным образом оба эти документа оказались не так далеко один от другого. Аргументация местами совпадала («во имя родины»), и оба они, лидер оппозиции и градоначальник, требовали от рабочих сохранения спокойствия.

Но, повидимому, тут было нечто более глубокое, чем то, что могло зависеть от коллективной воли рабочих или даже индивидуальных замыслов их вожаков. Что-то подточенное падало и то, что падало, чувствовало сильнее подточенность и неизбежность падения, — чем те рабочие, которые должны были быть последним порывом ветра, свалившим трехсотлетнее дерево. Милюков и Хабалов махали на них руками, приказывая — noli tangere — очевидно чувствуя, что они могут свалить власть, хотя, повидимому, сами рабочие были менее уверены в своих силах.

К этому времени относится совещание, о котором поведал впоследствии Н. Д. Соколов [90] — человек, не то меньшевик, не то большевик — но поведал при такой обстановке, что ему не имело смысла искажать истину. Слышал я это лично. Соколов сказал следующее:

— Перед тем, как должна была собраться Государственная Дума, произошло совещание революционных организаций Петрограда, как рабочих, так и солдатских. Представители

рабочих предложили организовать уличные демонстрации. Солдатские же представители ответили: «Для чего вы нас зовете? Если для революции, то мы выйдем на улицу, — но если для манифестации, — то не выйдем. Потому что вы, рабочие, после уличных манифестаций можете вернуться к себе на фабрики, а мы, солдаты, не можем — нас будут расстреливать!» Представители рабочих признали эти соображения правильными и заявили, что для революции они не готовы.

Они — революционеры — не были готовы, но она — революция — была готова. Ибо революция только наполовину создается из революционного напора революционеров. Другая ее половина, а может быть три четверти, состоит в ощущении властью своего собственного бессилия.

У нас, у многих, это ощущение было вполне. Ибо все в России делалось «по приказу его императорского величества». Это был электрический ток, приводящий в жизнь все провода. И именно этот ток обессиливался и замирал, уничтоженный безволием. На почве этого последнего выросло три грозных болезни: Распутин, Штюрмер и Милюков. Последний мог организовать оппозицию Государственной Думы, Думы 4 созыва, законопослушной и монархической, только благодаря concours bienveillant двух первых. Государственная Дума считала своим долгом для спасения армии и России — явно бороться со Штюрмером и тайно с Распутиным.

Результат: Штюрмер ушел, Распутин убит.

Но, вместе с тем, разрушен основной нерв России: сознание необходимости повиноваться «указу его императорского величества».

* * *

Это ощущение близости революции было так страшно, что кадеты в последнюю минуту стали как-то мягче.

Перед открытием Думы, по обыкновению, составляли формулу перехода. Написать ее сначала поручили мне. Я написал сразу, так сказать, не исправляя, и было это не столько формула перехода, сколько вылилось на бумагу то, что я чувствовал. Это было стенание на тему «до чего мы дошли»... И помню была такая фраза: «В то время, как акты террора совершаются принцами императорской крови»... Заключение было, что требуются героические усилия, чтобы спасти страну. Формула показалась всем слишком резкой. Милюков сказал, что она написана прекрасно, но признал, наравне с другими, что в настоящую минуту такая формула нежелательна. Я, разумеется, не настаивал. Приняли формулу Милюкова, более скромную...

* * *

Дума открылась сравнительно спокойно, но при очень скромном внутреннем самочувствии всех.

Затем центр тяжести перешел в бюджетную комиссию.

Там шел вопрос о хлебе. Я не помню хорошенько, в чем было дело, но помню, что сильно насиловали наши убеждения. Если не ошибаюсь, вопрос шел о «твердых ценах». Мы считали твердые цены источником расстройства государства. Это вообще была киевская точка зрения, которую с особенным упорством отстаивал А. И. Савенко [91]. О том, как Киев боролся спокон веков с социалистическими замашками, будет когда-нибудь, надеюсь, отмечено. Но в данном случае мы, в конце-концов, должны были уступить, чтобы не расстраивать блока и не уменьшать поступательной силы решения, которое было бы все равно принято. Я, помню, употребил тогда такое сравнение:

— Если человек хочет прыгнуть в пропасть — надо всеми силами удерживать его. Но если ясно, что он все равно прыгнет, — надо подтолкнуть его, потому что, может быть, в этом случае он допрыгнет до другого края.

* * *

Это было, быть может, последнее заседание Государственной Думы. Шел все тот же вопрос о хлебе. На этом деле блок раскололся. Правая сторона поддерживала правительство, считая его план разверстки правильным. Левое крыло, очевидно, полагая, что не может быть «ничего доброго из Назарета», отвергало предложение правительства. Милюков сказал речь—против, Шульгин—за. Товарищ министра А. А. Риттих [92] говорил убедительно, горячо, только очень нервно, слишком нервно. Он умолял не губить дела.

С внешней стороны было все, как всегда. Но на самом деле было иначе.

Тревога и грусть были разлиты в воздухе. Во время речи Милюкова, возражений Шульгина и убеждений Риттиха и во время других речей чувствовалось, что все это ненужно, запоздало, неважно...

Из-за белых колонн зала выглядывала безнадежность... Она шептала:

К чему? Зачем? Не все ли равно?

В кулуарах Думы говорили в этот день, что А. А. Риттих после речи, придя к себе, в «павильон министров», — разрыдался...

* *
*

26-го февраля.

В этот день, утром, неожиданно, ко мне пришел Петр Бернгардович Струве [93]. Он был взволнован и полубольной, но предложил мне двигаться к Маклакову [94].

— У Василия Алексеевича мы узнаем. И Дума рядом...

В воздухе уже была разлита такая степень тревоги, что невозможно было сидеть дома: надо было быть там. Это я чувствовал и раньше и, в особенности, почувствовал, когда пришел Петр Бернгардович.

Мы пошли... Был морозный день, ясный... Ни одного трамвая, — трамваи стали, и ни одного извозчика. Нам надо было итти пешком к Таврическому дворцу — это верст пять. Петр Бернгардович еле шел, я вел его под руку.

На улицах было совершенно спокойно, но очень пусто. И было это спокойствие неприятно, ибо мы отлично знали, отчего стали трамваи, отчего нет извозчиков. Вот уже три дня в Петрограде не стало хлеба. И этот светлый день был «затишьем перед бурей», которая где-то пряталась за этими удивительными мостами и дворцами, таилась и накоплялась... Накоплялась не то на Невском, невидимом отсюда, не то вон там на Выборгской Стороне, около Финляндского вокзала...

Нева была особенно красива в этот день... Мы остановились передохнуть, опершись на парапет Троицкого моста... Расцвеченная солнцем перспектива набережных говорила о том, «что сделано», но от этого становилось только жутче, потому что законченная в своей красоте, она ничего не могла ответить на вопрос: «что сделается»...

* *
*

Василий Алексеевич спешил: его вызывали к Покровскому [95]. Н. И. Покровский, министр иностранных дел, разумный и честный, был человек наиболее приемлемый для «думских сфер». Маклаков же был самый умеренный из кадетов и самый умный. Он наиболее приемлем для «правительственных сфер». Вместе с тем, он не был «патриотом прогрессивного блока», вследствие своей всегдашней оппозиции Милюкову. Маклаков был тот человек, который мог стать связующим звеном между Думой и правительством. Его приглашение к Покровскому могло обозначать многое. В ожидании его возвращения мы пошли в Таврический дворец.

* *
*

В комнате № 11, как всегда, заседал блок, вернее, бюро прогрессивного блока. Председателем был Шидловский, Сергей

Илиодорович. От кадет — Милюков и Шингарев, прогрессисты в это время уже ушли, от левых октябристов — Шидловский, от октябристов-земцев—граф Капнист (маленький, т.-е. Дмитрий Павлович), а от центра, кажется, Владимир Львов, от националистов-прогрессистов—Половцев 2-й и я.

Хотя окна большие, но в 3 часа уже темно. За столом, крытым зеленым бархатом, мы сидели при свете настольных ламп, с темными абажурами. Сколько раз уже так сидели.

Я не помню, что обсуждалось... Но я чувствовал, что делается что-то не то... Я много раз уже это чувствовал.

Мы все критиковали власть... Но совершенно неясно было, что мы будем отвечать, если нас спросят: «Ну хорошо, la critique est aisée—довольно критики, теперь пожалуйте сами! Итак, что надо делать?»... Мы имели «великую хартию блока», в которой значилось, что необходимо произвести некоторые реформы, но все это совершенно не затрагивало центрального вопроса: «Что надо сделать, чтобы лучше вести войну?»

Я неоднократно с самого основания блока добивался ясной практической программы. Сам я ее придумать не мог, а потому пытал своих «друзей слева», но они отделывались от меня разными способами, а когда я бывал слишком настойчив, отвечали, что практическая программа состоит в том, чтобы добиться «власти, облеченной народным доверием». Ибо эти люди будут толковыми и знающими и поведут дело. Дать же какой-нибудь рецепт для практического управления невозможно— «залог хорошего управления—достойные министры»,—это и на Западе так делается.

Тогда я стал добиваться, кто эти достойные министры. Мне отвечали, что пока об этом неудобно говорить, что выйдут всякие интриги и сплетни, и что это надо решать тогда, когда вопрос станет, так сказать, вплотную.

Но сегодня мне казалось, что вопрос уже стал «вплотную». Явственно чувствовалась растерянность правительства. Нас еще не спрашивали: кто? Но чувствовалось, что каждую минуту могут спросить. Между тем, были ли мы готовы? Знали ли мы, хотя бы между собой, — кто? Ни малейшим образом.

Поэтому я сделал следующее предложение, приблизительно в таких словах:

— Хотя это может показаться неловким, неудобным и так далее, но наступило время, когда с этим нельзя считаться. На нас лежит слишком большая ответственность. Мы вот уже полтора года твердим, что правительство никуда негодно. А что если «станется по слову нашему»? Если с нами, наконец, согласятся и скажут: «давайте ваших людей». Разве мы готовы?

Разве мы можем назвать, не отделываясь общей формулой, «людей, доверием общества облеченных», конкретных, живых людей?.. Я полагаю, что нам необходимо теперь уже, что это своевременно сейчас, — составить для себя, для бюро блока, список имен, т.-е. людей, которые могли бы быть правительством.

Последовала некоторая пауза. Я видел, что все почувствовали себя неудобно. Слово попросил Шингарев и выразил, очевидно, мнение всех, что пока это еще невозможно. Я настаивал, утверждая, что время уже пришло, но ничего не вышло, никто меня не поддержал, и списка не составили. Всем было— «неловко»... И мне тоже.

Таковы мы... русские политики. Переворачивая власть, мы не имели смелости или, вернее, спасительной трусости подумать о зияющей пустоте... Бессилие свое и чужое снова взглянуло мне в глаза насмешливо и жутко!..

* * *

По окончании заседания мы вышли в Екатерининский зал. В дверях я столкнулся с Маклаковым. Мы шли вместе, разговаривая о том, что с Покровским ничего особенного не вышло.

В это время в другом конце зала показался Керенский. Он по обыкновению куда-то мчался, наклонив голову и неистово размахивая руками. За ним, догоняя, старался Скобелев [96].

Керенский вдруг увидел нас и, круто изменив направление, пошел к нам, протянув вперед худую руку... для выразительности.

— Ну, что же, господа,—блок? Надо что-то делать! Ведь положение-то... плохо. Вы собираетесь что-нибудь сделать?

Он говорил громко, подходя. Мы сошлись на середине зала.

Кажется, до этого дня я не был официально знаком с Керенским. По крайней мере, я никогда с ним не разговаривал. Мы все же были в слишком далеких и враждебных лагерях. Поэтому для меня этот его «налет» был неожиданным. Но я решил им воспользоваться.

— Ну, если вы так спрашиваете, то позвольте, в свою очередь, спросить вас: по вашему-то мнению, что нужно? Что вас удовлетворило бы?

На изборожденном лице Керенского промелькнуло вдруг веселое, почти мальчишеское выражение.

— Что?.. Да в сущности немного... Важно одно: чтобы власть перешла в другие руки.

— Чьи? —спросил Маклаков.

— Это безразлично. Только не бюрократические.

— Почему не бюрократические? — возразил Маклаков. Я именно думаю, что бюрократические... только в другие, толковее и чище... Словом, хороших бюрократов. А эти «облеченные доверием»—ничего не сделают.

— Почему?

— Потому, что мы ничего не понимаем в этом деле. Техники не знаем. А учиться теперь некогда...

— Пустяки. Вам дадут аппарат. Для чего же существуют все эти bureaux и sous-secrétaires?!

— Как вы не понимаете,—вмешался Скобелев, обращаясь преимущественно ко мне,—что вы имеете д... д... д... доверие н... н... н... народа...

Он немножко заикался.

— Ну, а еще что надо?—спросил я Керенского.

— Ну, еще там,—он мальчишески, легкомысленно и весело махнул рукой, — свобод немножко. Ну там печати, собраний и прочее такое...

— И это все?

— Все пока... Но спешите... спешите...

Он помчался, за ним — Скобелев...

* *
*

Куда спешить?

Я чувствовал их, моих товарищей по блоку, и себя...

Мы были рождены и воспитаны, чтобы под крылышком власти хвалить ее или порицать... Мы способны были, в крайнем случае, безболезненно пересесть с депутатских кресел на министерские скамьи... под условием, чтобы императорский караул охранял нас...

Но перед возможным падением власти, перед бездонной пропастью этого обвала, — у нас кружилась голова и немело сердце...

Бессилие смотрело на меня из-за белых колонн Таврического дворца. И был этот взгляд презрителен до ужаса...

Последние дни «Конституции».

(Продолжение.)

(27-ое февраля 1917 года.)

«Я шел один где-то у нас на Волыни... Подходил к какому-то селу. Было ни день, ни ночь—светлые ровные сумерки, но все было как бы без красок... И дорога и село были какие-то самые обычные... Вот первая хата... Она немножко поодаль от других. Когда я поровнялся с нею, вдруг из деревянной черной трубы вспыхнуло большое синее пламя... Я хотел броситься в хату предупредить... Но не успел: вся соломенная крыша вспыхнула разом... Вся загорелась до последней соломинки... Громадным ярко-красно-желтым пламенем зарокотало, загудело... Я закричал от ужаса... Из хаты, не торопясь, вышла женщина...

«Я бросился к ней...

«— Диток, ратуй диток! (спасай детей!) — закричал я ей по-хохлацки.

«Она ничего не ответила, но смотрела на меня сурово. Я понял, что она мать и хозяйка... Но отчего она так разодета?.. Как в церковь.. Важная, красивая и такая суровая...

«— Диток! — закричал я еще раз...

«Она только сдвинула брови... Я бросился в хату.

«Но в это мгновение разом вся рухнула крыша... Хаты не стало... Бешено пылал и ревел огромный пожар... Этот звук делался все сильнее и переходил в настойчивый резкий звон»...

Я проснулся...

* * *

Было девять часов утра... Неистово звонил телефон...

— Алло.

— Вы, Василий Витальевич?.. Говорит Шингарев... Надо ехать в Думу... Началось...

— Что такое?

— Началось... Получен указ о роспуске Думы [97]... В городе волнение... Надо спешить... Занимают мосты...

Мы можем не добраться... Мне прислали автомобиль. Приходите сейчас ко мне... Поедем вместе...

— Иду...

* * *

Это было 27-го февраля 1917 года. Уже несколько дней мы жили на вулкане... В Петрограде не стало хлеба — транспорт сильно разладился из-за необычайных снегов, морозов и, главное, конечно, из-за напряжения войны... Произошли уличные беспорядки... Но дело было, конечно, не в хлебе... Это была последняя капля... Дело было в том, что во всем этом огромном городе нельзя было найти несколько сотен людей, которые бы сочувствовали власти... И даже не в этом... Дело было в том, что власть сама себе не сочувствовала...

Не было в сущности ни одного министра, который верил бы в себя и в то, что он делает...

Класс былых властителей сходил на нет... Никто из них неспособен был стукнуть кулаком по столу... Куда ушло знаменитое Столыпинское «не запугаете»?.. Последнее время министры совершенно перестали даже приходить в Думу... Только А. А. Риттих самоотверженно отстаивал свою «хлебную разверстку».

Но, придя в павильон министров после своей последней речи, он разрыдался.

* * *

Мы жили с А. И. Шингаревым в одном доме на Большой Монетной № 22 на Петроградской Стороне... Это далеко от Таврического дворца... Надо переехать Неву... Последнее время жизнь уже так расхлябалась в Петрограде, что вопрос о сообщениях стал серьезным для тех, кто, как Шингарев и я, не имели своей машины...

* * *

Мы поехали... Шингарев говорил:

— Вот ответ... До последней минуты я все-таки надеялся— ну, вдруг просветит господь-бог — уступят... Так нет... Не осенило — распустили Думу... А ведь это был последний срок... И согласие с Думой, какая она ни на есть,—последняя возможность... избежать революции...

— Вы думаете, началась революция?

— Похоже на то...

— Так ведь это конец?

— Может быть, и конец... а, может быть, и начало...

— Нет, вот в это я не верю. Если началась революция,— это конец.

— Может быть... Если не верить в чудо... А вдруг будет чудо!.. Во всяком случае Дума стояла между властью и революцией... Если нас по шапке, то придется стать лицом к лицу с улицей... А ведь... А ведь в сущности надо было продержаться еще два месяца...

— До наступления?

— Конечно. Если бы наступление было неудачно — все равно революции не избежать... Но при удаче...

— Да, при удаче—все бы забылось.

* * *

Мы выехали на Каменноостровский... Несмотря на ранний для Петрограда час, на улицах была масса народу... Откуда он взялся? Это производило такое впечатление, что фабрики забастовали... А может быть и гимназии... а может быть и университеты...

Толпа усиливалась по мере приближения к Неве... За памятником «Стерегущему», не помещаясь на широких тротуарах, она движущимся месивом запрудила проспект...

Автомобиль стал...

Какие-то мальчишки, рабочие, должно быть, под предводительством студентов, распоряжались:

— Назад мотор! проходу нет!

Шингарев высунулся в окошко.

— Послушайте. Мы члены Государственной Думы. Пропустите нас — нам необходимо в Думу.

Студент подбежал к окошку.

— Вы, кажется, господин Шингарев?

— Да, да, я—Шингарев... пропустите нас.

— Сейчас.

Он вскочил на подножку.

— Товарищи — пропустить! Это члены Государственной Думы — тов. Шингарев.

Бурлящее месиво раздвинулось — мы поехали... со студентом на подножке. Он кричал, что это едет «товарищ Шингарев», и нас пропускали. Иногда отвечали:

— Ура тов. Шингареву!

Впрочем, ехать студенту было недолго. Автомобиль опять стал. Мы были уже у Троицкого моста. Поперек его стояла рота солдат.

— Вы им скажите, что вы в Думу, — сказал студент. И исчез... Вместо него около автомобиля появился офицер. Узнав, кто мы, он очень вежливо извинился, что задержал.

— Пропустить. Это члены Государственной Думы...

Мы помчались по совершенно пустынному Троицкому мосту. Шингарев сказал...

— Дума еще стоит между «народом» и «властью»... Ее признают оба... берега... пока...

На том берегу было пока спокойно... Мы мчались по набережной, но все это давно знакомое казалось жутким... Что будет?

На Шпалерной мы встретились с похоронной процессией... Хоронили члена Государственной Думы М. М. Алексеенко...[98] Жалеть или завидовать?..

* * *

Выражение «лица Думы», этого знакомого фасада с колоннами, было странное... Такой она была в 1907 году, когда я в первый раз увидел ее... В ней и тогда было что-то... угрожающее...

Но швейцары раздели нас, как всегда... Залы были темноваты. Паркеты поблескивали, чуть отражая белые колонны...

* * *

Стали сезжаться... Делились вестями — что происходит... Рабочие собрались на Выборгской стороне... Их штаб—вокзал, повидимому... Кажется, там идут какие-то выборы, летучие выборы, поднятием рук... Взбунтовался полк какой-то... Кажется, Волынский... Убили командира... Казаки отказались стрелять... братаются с народом... На Невском баррикады...

О министрах ничего не известно... Говорят, что убивают городовых... Их почему-то называют «фараонами»...

* * *

Стало известно, что огромная толпа народу — рабочих, солдат и «всяких» — идет в Государственную Думу... Их тысяч тридцать.

* * *

С. И. Шидловский созвал бюро прогрессивного блока... И вот мы опять собрались в той самой комнате № 11, где собирались всегда, где принимались решения... Решения, которые привели к этому концу, вернее, не сумели предупредить этого конца.

Шидловский, Шингарев, Милюков, Капнист 2-й, Львов В. Н., Половцев, я... еще некоторые... Ефремов, Ржевский [99], еще кто-то... Все те, кто вели Думу последние годы... И довели...

Заседание открылось... Открылось под знаком того, что надвигается тридцатитысячная толпа... Что делать?..

Я не помню, что говорилось. Но помню, что никто не предложил ничего заслуживающего внимания... Да и могли ли предложить? Разве эти люди способны были управлять революционной толпой, овладеть ею? Мы могли под защитой ее же штыков говорить власти всякие горькие и дерзкие слова, и, ведя «конституционную», т.-е. словесную борьбу, удерживать массу от борьбы действием...

— Мы будем бороться с властью, чтобы армия, зная, что Государственная Дума на страже,—могла спокойно делать свое дело на фронте, а рабочие у станков могли спокойно подавать фронту снаряды... Мы будем говорить, чтобы страна молчала...

Этими словами я сам изложил смысл борьбы в своей речи 3-го ноября 1916 года...

Но теперь словесная борьба кончилась... Она не привела к цели... Она не предотвратила революции... А, может быть, даже ее ускорила... Ускорила или задержала?

Роковой вопрос повис над всеми нами, собравшимися в комнате № 11... Но не все его ощущали... Не все понимали свое бессилие... Некоторые думали, что и теперь еще мы можем что-то сделать, когда масса перешла «к действиям»... И что-то предлагали... Сидя за торжественно-уютными, крытыми зеленым бархатом столами, они думали, что «бюро прогрессивного блока» так же может управлять взбунтовавшейся Россией, как оно управляло фракциями Государственной Думы.

Впрочем, я сказал, когда до меня дошла очередь:

— По-моему, наша роль кончилась... Весь смысл прогрессивного блока был предупредить революцию и тем дать власти возможность довести войну до конца... Но раз цель не удалась... А она не удалась, потому что эта тридцатитысячная толпа — это революция... Нам остается одно... Думать о том, как кончить с честью...

Мы, конечно, ничего не решили в комнате № 11...

* * *

Потом было заседание в кабинете председателя Думы... Это было заседание старейшин... Тут были представители всех фракций, а не только фракций прогрессивного блока...

Председательствовал Родзянко...

Шел вопрос, как быть... С одной стороны, императорский указ о роспуске (прекращение сессии), а с другой—надвигающаяся стихия...

В огромное, во всю стену кабинета, зеркало отражался этот взволнованный стол... Мощный затылок Родзянко и все остальные... Чхеидзе, Керенский, Милюков, Шингарев, Некрасов, Ржевский, Ефремов, Шидловский, Капнист, Львов, князь Шаховской [100]... Еще другие...

Вопрос стоял так: не подчиниться указу государя императора, т.-е. продолжать заседания Думы,—значит стать на революционный путь... Оказав неповиновение монарху, Государственная Дума тем самым подняла бы знамя восстания и должна была бы стать во главе этого восстания со всеми его последствиями...

* * *

На это ни Родзянко ни подавляющее большинство из нас, вплоть до кадет, были совершенно неспособны... Мы были, прежде всего, лойяльным элементом... В нас уважение к престолу переплелось с протестом против того пути, которым шел государь, ибо мы знали, что это путь к пропасти... Поэтому вся работа Думы прошла под этим знаком... При докладах царю все, кто зависели или были вдохновляемы Думой, всегда твердили одно и то же: этот путь ведет династию к гибели... Открыто же в своих речах в Думе—мы бранили министров... При этой травле, однако, не переходили конституционной грани и не затрагивали монарха... Это было основное требование Родзянко и большинства Думы, которому должны были подчиниться все... Только раз Милюков прочел какую-то цитату из газеты по-немецки, в которой говорилось о «кружке молодой государыни»... Но это был выплеск, отклонение от основного пути...

* * *

Я не помню, что говорилось. Но помню решение: «Императорскому указу о роспуске подчиниться — считать Государственную Думу не функционирующей, но членам Думы не разъезжаться и немедленно собраться на «частное совещание» [101].

Чтобы подчеркнуть, что это частное совещание членов Думы, а не заседание Государственной Думы, как таковой, решено было собраться не в большом Белом Зале, а в «полуциркульном»...

* * *

Он едва вместил нас: вся Дума была налицо. За столом были Родзянко и старейшины. Кругом сидели и стояли, стол-

пившись, стеснившись, остальные... Встревоженные, взволнованные, как-то душевно прижавшиеся друг к другу... Даже люди, много лет враждовавшие, почувствовали вдруг, что есть нечто, что всем одинаково опасно, грозно, отвратительно... Это нечто — была улица... уличная толпа... Ее приближавшееся дыхание уже чувствовалось... С улицей шествовала та, о которой очень немногие подумали тогда, но очень многие, наверное, ощутили ее бессознательно, потому что они были бледные, с сжимающимися сердцами... По улице, окруженная многотысячной толпой, шла смерть...

* * *

Этой трепещущей, сгрудившейся около стола старейшин человеческой гуще, втиснутой в «полуциркульную» рамку зала, Родзянко доложил, что произошло... И поставил вопрос: «что делать?»

В ответ на это то там, то здесь, то справа, то слева просили слова взволнованные люди и что-то предлагали... Что?

Я не знаю. Не помню.—«Что-то»... Кажется, кто-то предложил Государственной Думе об'явить себя властью... Об'явить, что она не разойдется, не подчинится указу... Об'явить себя Учредительным Собранием... Это не встретило, не могло встретить поддержки... Кажется, отвечал Милюков... Во всяком случае, Милюков говорил, рекомендуя осторожность, рекомендуя не принимать слишком поспешных решений, в особенности, когда мы еще не знаем, что происходит и так ли это, как говорят, что старая власть пала, что ее больше нет, когда мы вообще еще не разобрались в обстановке и не знаем, насколько серьезно, насколько прочно начавшееся народное движение.

Кто-то говорил и требовал, чтобы Дума сказала, с кем она: со старой властью или с народом? С тем народом, который идет сюда, который сейчас будет здесь и которому надо дать ответ.

В эту минуту около дверей заволновались, затолпились, раздался какой-то повышенный разговор, потом расступились, и в зал вбежал офицер...

Он перебил заседание громким заскакивающим голосом:

— Господа члены Думы,—я прошу защиты!.. Я—начальник караула, вашего караула, охранявшего Государственную Думу... Ворвались какие-то солдаты... Моего помощника тяжело ранили... Хотели убить меня... Я едва спасся... Что же это такое?—помогите...

Это бросило в взволнованную человеческую ткань еще больше тревоги.

Кажется, Родзянко ответил ему, что он в безопасности— может успокоиться...

В эту минуту заговорил Керенский:

— Происшедшее подтверждает, что медлить нельзя!.. Я постоянно получаю сведения, что войска волнуются... Они выйдут на улицу... Я сейчас еду по полкам... Необходимо, чтобы я знал, что я могу им сказать. Могу ли я сказать, что Государственная Дума с ними, что она берет на себя ответственность, что она становится во главе движения?..

Не помню, получил ли ответ Керенский... Кажется, нет... Но его фигура вдруг выросла в «значительность» в эту минуту... Он говорил решительно, властно, как бы не растерявшись... Слова и жесты были резки, отчеканены, глаза горели...

— Я сейчас еду по полкам...

Казалось, что это говорил «власть имеющий»...

— Он у них—диктатор... — прошептал кто-то около меня.

Кажется, в эту минуту, а может быть, и раньше я попросил слова...

У меня было ощущение, что мы падаем в пропасть. Бессознательно я приготовился к смерти. И мне, очевидно, хотелось сказать нам всем эпитафию, сказать, что мы умираем такими, как жили:

— Когда говорят о тех, кто идет сюда, то надо прежде всего знать—кто они? Враги или друзья?.. Если они идут сюда, чтобы продолжать наше дело — дело Государственной Думы, дело России, если они идут сюда, чтобы еще раз с новой силой провозгласить наш девиз: «все для войны», — то тогда они наши друзья, тогда мы с ними... Но если они идут с другими мыслями, то они друзья немцев... И нам нужно сказать им прямо и твердо: «Вы — враги, мы не только не с вами, мы против вас!»

Кажется, это заявление произвело некоторое впечатление, но не имело последствий... Керенский еще что-то говорил... Он стоял, готовый к отъезду, решительный, бросающий резкие слова, чуть презрительный...

Он рос... Рос на начавшемся революционном болоте, по которому он привык бегать и прыгать, в то время, как мы не умели даже ходить...

* * *

Кто-то предложил в горячей речи, что всем членам Думы в это начавшееся тяжелое время нужно сохранить полное единство—всем, без различия партий, для того, чтобы препятствовать развалу. А для того, чтобы руководить членами Думы,

необходимо избрать комитет, которому вручить «диктаторскую власть». Все члены Думы обязаны беспрекословно повиноваться комитету...

Это предложение в этой взволнованной, напуганной атмосфере встретило всеобщую поддержку... Диктатура есть функция опасности: так было—так будет...

С большим единодушием подавляющим числом голосов были избраны слева направо:

Чхеидзе—социал-демократ.
Керенский — трудовик.
Ефремов — прогрессист.
Ржевский — прогрессист.
Милюков — кадет.
Некрасов — кадет.
Шидловский Сергей — левый октябрист.
Родзянко — октябрист-земец.
Львов Владимир — центр.
Шульгин — националист (прогрессист) [102].

В сущности это было бюро прогрессивного блока с прибавлением Керенского и Чхеидзе. Это было расширение блока налево, о котором я когда-то говорил с Шингаревым,—но, увы, при какой обстановке произошло это расширение...

Страх перед улицей загнал в одну «коллегию» Шульгина и Чхеидзе...

* * *

А улица надвигалась и вдруг обрушилась... [103]

Эта тридцатитысячная толпа, которою грозили с утра, оказалась не мифом, не выдумкой от страха...

И это случилось именно как обвал, как наводнение... Говорят (я не присутствовал при этом), что Керенский из первой толпы солдат, поползших на крыльцо Таврического Дворца, попытался создать «первый революционный караул»:

— Граждане солдаты, великая честь выпадает на вашу долю—охранять Государственную Думу... Об'являю вас первым революционным караулом...

Но этот «первый революционный караул» не продержался и первой минуты... Он сейчас же был смят толпой...

* * *

Я не знаю, как это случилось... Я не могу припомнить. Я помню уже то мгновение, когда черно-серая гуща, прессуясь в дверях, непрерывным врывающимся потоком затопляла Думу...

Солдаты, рабочие, студенты, интеллигенты, просто люди... Живым, вязким человеческим повидлом они залили растерянный Таврический дворец, залепили зал за залом, комнату за комнатой, помещение за помещением...

* * *

С первого же мгновения этого потопа отвращение залило мою душу, и с тех пор оно не оставляло меня во всю длительность «великой» русской революции.

Бесконечная, неисчерпаемая струя человеческого водопровода бросала в Думу все новые и новые лица... Но сколько их ни было — у всех было одно лицо: гнусно-животно-тупое или гнусно-дьявольски-злобное...

Боже, как это было гадко!.. Так гадко, что, стиснув зубы, я чувствовал в себе одно тоскующее, бессильное и потому еще более злобное бешенство...

Пулеметов!

Пулеметов — вот чего мне хотелось. Ибо я чувствовал, что только язык пулеметов доступен уличной толпе и что только он, свинец, может загнать обратно в его берлогу вырвавшегося на свободу страшного зверя...

Увы—этот зверь был... его величество русский народ...

То, чего мы так боялись, чего во что бы то ни стало хотели избежать, уже было фактом. Революция началась.

* * *

С этой минуты Государственная Дума, собственно говоря, перестала существовать. Перестала существовать даже физически, если так можно выразиться. Ибо эта ужасная человеческая эссенция, эта вечно снующая, все заливающая до последнего угла толпа солдат, рабочих и всякого сброда—заняла все помещения, все залы, все комнаты, не оставляя возможности не только работать, но просто передвигаться... Своим бессмысленным присутствием, непрерывным гамом тысяч людей она парализовала бы нас даже в том случае, если бы мы способны были что-нибудь делать... Ведь и найти друг друга в этом море людей было почти невозможно...

* * *

Впрочем, еще некоторое время продержался так называемый «кабинет Родзянко». Все остальные комнаты и залы, в том числе, конечно, огромный Екатерининский зал, были залиты народом... Кабинет Родзянко еще пока удавалось отстаивать, и там собирались мы — «комитет Государственной Думы».

* * *

Комитет Государственной Думы был создан первоначально для руководства членами Государственной Думы, которые обязались ему повиноваться.

Но сейчас же стало ясно, что его обязанности будут шире... Со всех сторон доходили вести, что власти больше нет, что войска взбунтовались, но что все они «за Государственную Думу»... Что вообще «революционная» столица за Государственную Думу... Это давало надежды как-нибудь, быть может, овладеть движением, стать во главе его, не дать разыграться анархии.

Поэтому, в первый же набросок о задачах комитета было включено, что комитет образовался для поддержания порядка в столице и для «сношений с учреждениями и лицами» [104].

Меня лично в эти минуты больно мучил вопрос: что будет с фабриками и заводами? Не разрушит ли «революционный народ» все те приспособления, машины, станки и оборудования, которые с такой энергией воззвал к жизни генерал Маниковский по приказанию «Особого совещания по государственной обороне»? Поэтому, по моему предложению, первое обращение, которое выпустил комитет,—был призыв беречь фабрики, заводы и все прочее...

* * *

Затем обсуждалось положение...

* * *

Положение!..

Покрывая непрерывный рев человеческого моря, в кабинет Родзянко ворвались крикливые звуки меди...

Марсельеза...

Вот мы где. Вот каково «положение»!

Contre nous de la tyrannie
L'étendard sanglant est levé!

Доигрались. Революция по всей «французской форме»!

Aux armes, citoyens!
Formez vos bataillons!
Marchons, marchons qu'un sang impur
Abreuve nos sillons.

Чья «нечистая кровь» должна пролиться? Чья?

«Ура» такое, что, казалось, нет ему ни конца, ни края, залило воздух какою-то темною, дурманною жидкостью...

Стихло...

Долетают какие-то выкрики...

Это речь?.. да...

И опять... Опять это ни с чем несоизмеримое «ура». И на фоне его резкая медь выкрикивает свои фанфарные слова:

Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats:
Ils viennent jusque dans vos bras
Egorger vos fils, vos compagnes.

* * *

Я помню во весь этот день и следующие—ощущение близости смерти и готовности к ней...

Умереть. Пусть.

Лишь бы не видеть отвратительное лицо этой гнусной толпы, не слышать этих мерзостных речей, не слышать воя этого подлого сброда.

Ах, пулеметов сюда, пулеметов!..

* * *

Но пулеметов у нас не было. Не могло быть.

Величайшей ошибкой, непоправимой глупостью всех нас было то, что мы не обеспечили себе никакой реальной силы. Если бы у нас был хоть один полк, на который мы могли бы твердо опереться, и один решительный генерал—дело могло бы обернуться иначе.

Но у нас ни полка ни генерала не было... И более того—не могло быть...

В то время в Петрограде «верной» воинской части уже—или еще—не существовало...

* * *

Офицеры. О них речь впереди. Да и никому в то время «опереться на офицерские роты» в голову не приходило...

Кроме того...

Кроме того, хотя я, конечно, был не один, который так чувствовал, т.-е. чувствовал, что это конец... чувствовал острую ненависть к революции с первого же дня ее появления... я ведь имел хорошую подготовку... я ненавидел ее смертельно еще с 1905 года... Хотя я, конечно, был не один, но все же нас было немного... Почти все еще не понимали, еще находились в... дурмане...

Нет, полка у нас не могло быть...

* * *

Полиция?

Да, пожалуй...

Но ведь разве мы-то сами к чему-нибудь такому годны? Разве мы понимали?.. Разве мы были способны в то время «молниеносно» оценить положение, предвидеть будущее, принять решение и выполнить за свой страх и риск?..

Тот между нами, кто это сделал бы, был бы Наполеоном [105], Бисмарком [106], или Столыпиным... Но между нами таких не было...

Да, под прикрытием ее штыков мы красноречиво угрожали власти, которая нас же охраняла...

Но говорить со штыками лицом к лицу...Да еще с взбунтовавшимися штыками...

Нет, на это мы были неспособны.

Беспомощные—мы даже не знали, как к этому приступить... Как заставить себе повиноваться? Кого? Против кого? И во имя чего?

* * *

Меж тем в сущности в этом был вопрос... Надо было заставить кого-то повиноваться себе, чтобы посредством повинующихся раздавить не желающих повиноваться...

Не медля ни одной минуты...

Но этого почти никто не понимал... И еще менее мог кто-нибудь выполнить...

* * *

На революционной трясине, привычный к этому делу, танцовал один Керенский...

Он вырастал с каждой минутой...

* * *

Революционное человеческое болото, залившее нас, все же имело какие-то кочки... Эти «кочки опоры», на которых нельзя было стоять, но по которым можно было перебегать—были те революционные связи, которые Керенский имел: это были люди, отчасти связанные в какую-то организацию, отчасти не связанные, но признававшие его авторитет. Вот почему на первых порах революции (помимо его личных качеств, как первоклассного актера)—Керенский сыграл такую роль... Были люди, которые его слушались... Но тут требуется некоторое уточнение: я хочу сказать, были вооруженные люди, которые его слушались. Ибо в революционное время люди только те,

кто держит в руках винтовку. Остальные — это мразь, пыль, по которой ступают эти — «винтовочные».

* * *

Правда, «вооруженные люди Керенского» не были ни полком, ни какой-либо «частью», вообще—ничем прочным. Это были какие-то случайно сколотившиеся группы... Это были только «кочки опоры»... Но все же они у него были, и это было настолько больше наличности, имевшейся у нас, всех остальных, насколько нечто больше нуля...

* * *

Кому я, например, мог что-нибудь приказать? Своим же членам Государственной Думы? Но, ведь, они не были вооружены. А если бы были? Неужели можно было составить батальон из дряхлых законодателей?

По психологии, наступившей через год (время Корниловской эпопеи), может быть и можно бы было. Тогда председатель Государственной Думы и несколько ее членов сделали Корниловский поход [107]. Но 27-го февраля 1917 года? Я убежден, что, если бы сам Корнилов [108] был членом Государственной Думы, ему это не пришло бы в голову.

Впрочем, нечто в этом роде пришло в голову через несколько дней члену Государственной Думы казаку Караулову [109]. Он задумал «арестовать всех» и об'явить себя диктатором. Но когда он повел такие речи в одном наиболее «надежном полку», он увидел, что если он не перестанет, то ему самому не сдобровать... Такой же прием ожидал каждого из нас... Кому мог приказать Милюков? Своим «кадетам»? Это народ не винтовочный...

* * *

А у Керенского были какие-то маленькие зацепки... Они не годились ни для чего крупного. Но они давали какую-то иллюзию власти. Это для актерской, легко воспламеняющейся, самой себе импонирующей натуры Керенского было достаточно... Какие-то группы вооруженных людей пробивались к нему сквозь человеческое месиво, залившее Думу, искали его, спрашивали, что делать, как «защищать свободу», кого схватить... Керенский вдруг почувствовал себя «тем, кто приказывает»... Вся внешность его изменилась... Тон стал отрывист и повелителен...

«Движенья быстры»...

* * *

Я не знаю, по его ли приказанию, или по принципу «самозарождения», но по всей столице побежали добровольные жандармы «арестовывать»... Во главе какой-нибудь студент, вместо офицера, и группа «винтовщиков» солдат или рабочих, чаще тех и других... Они врывались в квартиры, хватали «прислужников старого режима» и волокли их в Думу.

Одним из первых был доставлен Щегловитов [110], председатель Государственного Совета, бывший министр юстиции, тот министр, при котором был процесс Бейлиса (не потому ли он был схвачен первым?). Тут в первый раз Керенский «развернулся»...

Группка, тащившая высокого седого Щегловитова, пробивалась сквозь месиво людей, и ей уступали дорогу, ибо поняли, что схватили кого-то важного... Керенский, извещенный об этом, резал толпу с другой стороны... Они сошлись...

Керенский остановился против «бывшего сановника» с видом вдохновенным:

— Иван Григорьевич Щегловитов — вы арестованы!

Властные, грозные слова... «Лик его ужасен».

— Иван Григорьевич Щегловитов... ваша жизнь в безопасности... Знайте: Государственная Дума не проливает крови.

Какое великодушие!.. «Он прекрасен»...

* * *

В этом сказался весь Керенский: актер до мозга костей, но человек с искренним отвращением к крови в крови.

Ecclesia abhorret sanguinem.

Так говорили отцы-инквизиторы, сжигая свои жертвы...

Так и Керенский: сжигая Россию на костре «свободы», провозглашал:

— Дума не проливает крови...

* * *

Но, как бы там ни было, лозунг был дан. Лозунг был дан, и дан в форме декоративно-драматической, повлиявшей на умы и сердца...

Скольким это спасло тогда жизнь...

* * *

Комитет Государственной Думы все заседал, что-то вырабатывая. Было уже поздно... Мне ужасно захотелось есть. И притом надо было посмотреть, что делается... Я стал пробиваться к буфету.

Все было забито народом. В большом Белом зале (зал заседаний Государственной Думы) шел непрерывный митинг... В огромном Екатерининском стояли, как в церкви... В Круглом, около входа, непрерывный водоворот. И из вестибюля еще и еще лила струя людей... Казалось, им не может быть конца.

Чтобы пробиться, куда мне было нужно, надо было включиться в благоприятный человеческий поток... Иначе никак нельзя было... Так должны были мы передвигаться, мы, хозяева, члены Государственной Думы. Я толкался среди этой бессмысленной толпы, своим нелепым присутствием парализовавшей всякую возможность что-нибудь делать... Тоска и бешенство бессилия терзали меня...

Наконец, поток вынес меня в длинный коридор, который через весь корпус Думы ведет к ресторану. Я двигался медленно; в одном месте застрял... Чтобы не видеть хоть минуту всех этих гнусных лиц, — я отвернулся к окну... Увы, там, — там еще хуже... Сплошная толпа серо-рыжей солдатни и черноватого штатско-рабоче-подобного народа залила весь огромный двор и толкалась там... Минутами толпу прорезали кошмарные огромные животные, ощетиненные и оглушительно-рычащие... Это были автомобили-грузовики, набитые до отказа революционными борцами... Штыки торчали во все стороны, огромные красные флаги вились над ними... Какое отвращение... Вдруг кто-то, стоявший рядом со мной, сказал что-то. Я посмотрел на него. Это был солдат. Хмурый, как и я, он смотрел в окно. Потом повернулся ко мне. Лицо у него было какое-то «не в себе». Встретившись со мной глазами и, очевидно, что-то сообразив, он сказал, как бы продолжая то, что он бормотал:

— А у вас тут нет? В Государственной Думе?

Сначала я подумал, что он наверное просит папирос... но вдруг понял, что это другое...

— Чего нет? Что вы хотите?

Он смотрел в окно... Мазал пальцем по стеклу... Потом сказал нехотя:

— Да офицеров...

— Каких офицеров?

— Да каких-нибудь... Чтоб были подходящие...

Я удивился. А он продолжал, чуть оживившись:

— Потому как я нашим ребятам говорил: не будет так ладно, чтоб совсем без офицеров... Они, конечно, серчают на наших... Действительно бывает... Ну, а как же так совсем без них? Нельзя так... Для порядка надо бы, чтоб тебе был офицер... Может у вас в Государственной Думе найдутся какие — подходящие?..

* * *

На всю жизнь остались у меня в памяти слова этого солдата. Они искали в Думе «подходящих офицеров». Не нашли... И не могли найти... У Думы «своего офицерства» не было... Ах, если бы оно было!.. Если бы оно было хотя бы настолько подготовленное, насколько была мобилизована «противоположная сторона»... Тогда борьба была бы возможна...

* * *

А «противоположная сторона» не дремала. Во всем городе, во всех казармах и заводах шли «летучие выборы»... От каждой тысячи по одному. Поднятием рук... Выбирали солдатских и рабочих депутатов [111]. «Организовывали» массу... То-есть, другими словами, работали над тем, чтобы подчинить ее себе.

А мы? Мы весьма плохо подозревали, что это делается, и во всяком случае не имели понятия о том, как это делается, и безусловно не имели никакого плана и мысли, как с этим бороться...

* * *

В буфете, переполненном, как и все комнаты, я не нашел ничего: все с'едено и выпито до последнего стакана чая. Огорченный ресторатор сообщил мне, что у него раскрали все серебряные ложки...

Это было начало: так «революционный народ» ознаменовал зарю своего «освобождения». А я понял, отчего вся эта многотысячная толпа имела одно общее неизреченно-гнусное лицо: ведь это были воры—в прошлом, грабители—в будущем... Мы как раз были на переломе, когда они меняли фазу... Революция и состояла в том, что воришки перешли в следующий класс: стали грабителями.

* * *

Я пошел обратно. В входные двери все продолжала хлестать струя человеческого прилива. Я смотрел на них и думал: «Опоздали, голубчики, серебро уже раскрали»... Как я их ненавидел! Старая ненависть, ненависть 1905 года, бросилась мне в голову...

* * *

В одной проходной небольшой комнате был клубок людей, чего-то особенно волновавшихся. Центром этого кружка был человек в зимнем пальто и кашне, несколько растрепанный,

седой, но еще молодой. Он что-то кричал, а к нему приставали. Вдруг он увидел как бы якорь спасения: очевидно, узнал кого-то. Этот кто-то был Милюков, пробивавшийся через толпу куда-то, белый как лунь, но чисто выбритый и «с достоинством». Человек, слегка растрепанный, бросился к сохранившемуся Милюкову:

— Павел Николаевич, что они от меня хотят? Я полгода был в тюрьме, меня вот оттуда вытащили, притащили сюда и требуют, чтобы я стал «во главе движения». Какого движения? Что происходит? Я ведь ничего не знаю... Что такое? Что от меня нужно?

Я не слышал, что ответил ему Милюков... Но когда последний проплывал мимо меня, освободившись, я спросил его— кто этот человек?

— Разве вы не знаете? Это Хрусталев-Носарь [112].

В это же мгновение какой-то удивительно противный, сухой, маленький, бритый, с лицом, как бывает у куплетистов скверных шантанов, протискался к Милюкову:

— Позвольте вам представиться, Павел Николаевич, ваш злейший враг...

Он сказал свою фамилию и исчез, а Милюков сказал мне:

— Этого вы наверно не знаете... Это Суханов-Гиммер [113], журналист...

— Почему он ваш «злейший враг»?

— Он — «пораженец»... Злостный «пораженец» [114]...

* * *

Я не помню. Может быть, кто-нибудь помнит... В газетах того времени, вероятно, есть подробности... У меня от этого дня осталась в памяти только эта толпа, залившая Таврический дворец каким-то серым движущимся кошмаром, кошмаром говорящим, кричащим, штыками торчащим, порой извергающим из желтых труб марсельезу...

* * *

В этой толпе, незнакомой и совершенно чужой, мы себя чувствовали, как будто нас перенесли вдруг совсем в какое-то новое государство и иную страну. Если иногда попадалось знакомое лицо, то его приветствовали так, как люди встречают соотечественников на чужбине и притом на враждебной чужбине...

* * *

К вечеру, кажется, стало известно, что старого правительства нет... Оно попросту разбежалось по квартирам... Не было оказано никакого сопротивления... В этот день, если не

ошибаюсь, никого не арестовали из министров... Правительство ушло, как будто даже раньше, чем кто-либо этого потребовал.

* * *

Не стало и войск... Т.-е. весь гарнизон перешел на сторону «восставшего народа»... Но вместе с тем войска как будто стояли «за Государственную Думу»... Здесь начиналось смешение... Выходило так, что и Государственная Дума «восстала», и что она «центр движения»... Это было неверно... Государственная Дума не восставала... Но это паломничество солдат на «поклонение» Государственной Думе создавало двусмысленное положение...

Родзянко то и дело вызывали на крыльцо, потому что та или иная «часть» пришла приветствовать Государственную Думу... Родзянко выходил, говорил о верности родине и о спасении России. Его слова пропускали мимо ушей, но в Думе видели новую власть,—это было ясно...

* * *

И ужас был в том, что этот ток симпатий к Государственной Думе, принимавший порой трогательные формы, нельзя было использовать, нельзя было на него опереться...

Во-первых, потому, что мы не умели этого сделать...

Во-вторых, потому, что эти приветствовавшие—приветствовали Думу как символ революции, а вовсе не из уважения к ней самой...

В-третьих, потому, что во всю работала враждебная рука, которая отнюдь не желала укреплять власть Государственной Думы, стоявшей на патриотической почве. Это была рука будущих большевиков, несомненно и тогда руководимых немцами...

В-четвертых, потому, что эти войска были уже не войска, а банды вооруженных людей, без дисциплины и почти без офицеров... И тем не менее...

И тем не менее, когда стало очевидно, что правительства больше нет, стало ясно и другое, что без правительства нельзя быть и часу. И что поэтому...

И что поэтому «комитету Государственной Думы», к которому начали бросаться со всех сторон за указаниями, приходится взвалить на себя шапку Мономаха...

Родзянко долго не решался. Он все допытывался, что это будет—бунт или не бунт?

— Я не желаю бунтоваться. Я не бунтовщик, никакой революции я не делал и не хочу делать. Если она сделалась, то именно потому, что нас не слушались... Но я не революционер.

Против верховной власти я не пойду, не хочу итти. Но, с другой стороны, ведь правительства нет. Ко мне рвутся со всех сторон... Все телефоны обрывают. Спрашивают, что делать. Как же быть? Отойти в сторону? Умыть руки? Оставить Россию без правительства? Ведь это Россия же, наконец!.. Есть же у нас долг перед родиной?.. Как же быть? Как же быть?

Спрашивал он и у меня.

Я ответил совершенно неожиданно для самого себя, совершенно решительно:

— Берите, Михаил Владимирович. Никакого в этом нет бунта. Берите, как верноподданный... Берите, потому что держава Российская не может быть без власти... И если министры сбежали, то должен же кто-то их заменить... Ведь сбежали? Да или нет?

— Сбежали... Где находится председатель Совета Министров—неизвестно. Его нельзя разыскать... Точно также и министр внутренних дел... Никого нет... Кончено!..

— Ну, если кончено, так и берите. Положение ясно. Может быть два выхода: все обойдется—государь назначит новое правительство, мы ему и сдадим власть... А не обойдется, так если мы не подберем власть, то подберут другие, те, которые выбрали уже каких-то мерзавцев на заводах... Берите, ведь, наконец, чорт их возьми, что же нам делать, если императорское правительство сбежало так, что собаками их не сыщешь!..

Я вдруг разозлился. И в самом деле. Хороши мы, но хороши и наши министры... Упрямились, упрямились, довели до чорт знает чего, и тогда сбежали, предоставив нам разделываться с взбунтовавшимся стотысячным гарнизоном, не считая всего остального сброда, который залепил нас по самые уши... Называется правительство великой державы. Слизь, а не люди...

* * *

С этой минуты во мне произошел какой-то внутренний перелом... Я стал искать выхода... какого-нибудь выхода...

* * *

До поздней ночи продолжалось все то же самое. Митинг в Думе, и хлещущая толпа через все залы. Прибывающие части с марсельезой. Звонки телефонов. Десятки, сотни растерянных людей, требовавших ответа, что делать... Кучки вооруженных, приводивших арестованных... К этому надо прибавить писание «воззваний» от комитета Государственной Думы

и отчаянные вопли Родзянко по прямому проводу в Ставку с требованием немедленно на что-нибудь решиться, что-то сделать, действовать [115].

Увы! Как потом стало известно, в этот день государыня Александра Федоровна телеграфировала государю, что «уступки необходимы» [116].

Эта телеграмма опоздала на полтора года. Этот совет должен был быть подан осенью 1915 года. «Уступками» надо было расплатиться тогда — за великое отступление «без снарядов». Уплатить по этому счету и предлагало большинство четвертой Государственной Думы. Но тогда уплатить за потерю двадцати губерний отказались... Теперь же... Теперь же, кажется, было поздно... Цена «уступкам» стремительно падала... Какими уступками можно было бы удовлетворить это взбунтовавшееся море?..

* * *

Кажется, этой ночью Дума вроде как бы вооружилась... Толпа схлынула... Но какой-то солдатский табор ночевал в Думе... В сенях стояли пулеметы... Учреждена была, кажется, должность коменданта Государственной Думы [117]. Под утро, выбившись из сил, мы дремали в креслах в полукруглой комнате, примыкающей к кабинету Родзянко — в «кабинете Волконского» [118]... Просыпаясь от времени до времени, я думал о том, что можно сделать... Где выход, где выход?..

* * *

Я отчетливо понимал и тогда, как и теперь, как и всегда, сколько я себя помню, что без монархии не быть России. И мысль вертелась: как спасти монархию... Монархию, которая по тысячам причин, и, может быть, больше всего собственными руками, приготовила себе гибель. И, должно быть, в эту бессонную ночь пришла мысль, которая, правильная или нет — об этом будет судить история, — свелась к следующему:

— Быть может, пожертвовав монархом, удастся спасти монархию...

Так, бесформенная, еще сама себя не сознающая, родилась мысль об отречении императора Николая II в пользу малолетнего наследника... Разумеется, родилась не у одного меня...

* * *

В эту же ночь, если не ошибаюсь, одну из комнат (бюджетной комиссии) занял «Исполком Совдепа»... Это дикое в то время название обозначало: «исполнительный комитет совета солдатских и рабочих депутатов» [119]...

Кошмарная ночь... Где мы? Что собственно происходит? До какой степени развала уже дошли? Что с Россией? Что с армией? Знают ли уже?.. Если не знают, то завтра узнают... Как примут? Что произойдет?

Нужен центр. Нужен во что бы то ни стало какой-то фокус... Не то все разбредется... Все разлетится... Будет небывалая анархия... И главное—армия, армия. Все пропало, если развал начнется в армии... А он непременно начнется, если сейчас, сейчас же не будет кому повиноваться... Нельзя допустить, чтобы там произошло как здесь — взбунтовавшиеся солдаты без офицеров... Надо, чтобы туда дошло готовое решение... Пусть думают, что власть взята Государственной Думой... Они сразу не разберутся, что Государственная Дума сама по себе не может быть властью—для них это будет звучать... Для них это лозунг—«Государственная Дума»... И для России тоже... Это звучит в провинции... Они будут верить несколько дней... Здесь будет некоторое время распоряжаться комитет Государственной Думы... Пока решится вопрос о государе...

* * *

О государе. Да, вот это главное, самое важное... Может он царствовать? Может ли? О, как это узнать, как? нет... не может... Все это, что было... Кто станет за Него? У него — никого, никого... Распутин всех съел, всех друзей, все чувства... нет больше верноподданных... Есть скверноподданные и открытые мятежники... Последние пойдут против него, первые спрячутся... Он один... Хуже, чем один... Он с тенью Распутина... Проклятый мужик!.. Говорил Пуришкевичу—не убивайте, вот он теперь мертвый—хуже живого... Если бы он был жив, теперь бы его убили, хоть какая-нибудь отдушина. А то—кого убивать? Кого? Ведь этому проклятому сброду надо убивать, он будет убивать—кого же?

Кого?.. Ясно...

Нет, этого нельзя. Надо спасти, надо?

* * *

Чтобы спасти... чтобы спасти... надо или разогнать всю эту сволочь (и нас вместе с ними) залпами, или...

Или надо отречься от престола...

Ценой отречения спасти жизнь государю... и спасти монархию...

* * *

Если подавить бунт можно, то и слава богу. Это сделают не только без нас, но и против нас...

Николай I повесил пять декабристов, но если Николай II расстреляет 50.000 «февралистов», то это будет задешево купленное спасение России.

Это будет значить, что у нас есть государь, что у нас есть власть... Но если не удастся? Если для этого ни полков, ни полковников не найдется?..

Тогда... тогда—отречение... Царствовать будет малолетний царь... значит—регент. Регент? Кто? Михаил Александрович? Да, кажется... Потом Верховный Главнокомандующий... Ну, великий князь Николай Николаевич, конечно...

Затем... Затем—правительство... Но кто?

* * *

Кто? В сущности... В сущности—никого... Ломали, ломали копья, а для кого—неизвестно... Ну, Милюков, Шингарев, конечно... затем Керенский... да, Керенского необходимо... Он самый деятельный... сейчас... актер? Да, кажется... все равно... талантливый актер. На первых порах—это главное... Его одного слушают... да и нужно для левых. Родзянко? Родзянко пойдет только в премьеры, а в премьеры нельзя, не согласятся левые и даже кадеты... Пусть остается председателем Думы... А будет Дума? Что-то непохоже... В сущности, мы в плену... Ах, проклятая гуща... Неужели завтра возобновится весь этот кошмар?.. Надо вздремнуть... Хоть минутку покоя, пока их нет... Их... Кого? Революционного сброда, то-есть, я хотел сказать—народа... Да, его величества народа... О, как я его ненавижу!..

* * *

28-ое февраля.

Наступил день второй, еще более кошмарный... «Революционный народ» опять залил Думу... Не протиснуться... Вопли ораторов, зверское «ура», отвратительная марсельеза... И при этом еще бедствие—депутации... Неистовое количество людей от неисчислимого количества каких-то учреждений, организаций, обществ, союзов, я не знаю чего, желающих видеть Родзянко и в его лице приветствовать Государственную Думу и новую власть. Все они говорили какие-то речи, склоняя «народ и свобода»... Родзянко отвечает, склоняя «родина и армия»... Одно не особенно клеится с другим, но кричат «ура» неистово. Однако, кричат «ура» и речам левых... А левые склоняют другие слова: «темные силы реакции, царизм, старый режим, революция, демократия, власть народа, диктатура пролетариата, социалистическая республика,

земля трудящимся» и опять—свобода, свобода, свобода—до одури, до рвоты... Всем кричат «ура». Некоторые начинают уже приветствовать и «совет солдатских и рабочих депутатов». Его исполнительный комитет сидит у нас под боком... Мы ясно чувствуем, что это вторая власть... Впрочем, Керенский и Чхеидзе избраны и там—они вошли в Исполком:.. Они служат мостом между этими двумя головами. Да, получается нечто двуглавое, но отнюдь не орел. Одна голова кадетская, а другая еще детская, но по всем признакам «от вундеркинда», т.-е. наглая и сильно горбоносая. Впрочем и от «кавказской обезьяны» есть там доля порядочная...

Полки попрежнему прибывают, чтобы поклониться. Все они требуют Родзянко... Родзянко идет, ему командуют «на караул»; тогда он произносит речь громовым голосом... крики «ура!»... Играют марсельезу, которая режет нервы... Михаил Владимирович очень приспособлен для этих выходов: и фигура, и голос, и апломб и горячность... При всех его недостатках, он любит Россию и делает что может, т.-е. кричит изо всех сил, чтобы защищали родину... И люди загораются, и вот оглушительное «ура»... Но сейчас же вслед за этим выползает какая-нибудь кавказская обезьяна, или еще похуже и говорит пораженческие мерзости, разжигая злобу и жадность... У них через каждое слово «помещики, царская клика, Распутин, крепостники, - опричники, жандармы»... И им тоже кричат «ура», да, да—кричат... и напрасно Михаил Владимирович себя обольщает, что Государственная Дума взяла власть. Вздор. Болото — кругом. Ни на что нельзя опереться. Это оглушительное «ура» — это мираж. Ведь я знаю, чему они так рады... Потому что надеются не пойти на фронт. Почти все части без офицеров... Где офицеры?..

* * *

Тем не менее, «Комитет Государственной Думы» работает в этот день во-всю... Правительства нет, все брошено... Весь огромный механизм остановлен на полном ходу, остановлен и обезглавлен... Всеобщий развал неминуем, если не принять самых экстренных мер... Положение таково, что многих старых бюрократов нельзя оставить... Часть их даже арестована добровольными сыщиками и притащена сюда... Часть бежала... Часть надо заменить, потому что... Ну, потому что их не удержать. Кем заменить? Кто имеет авторитет—реальной силы ведь нет... Кто?

И решили послать членов Государственной Думы... «комиссарами» [120]... То-есть временно «исполняющими должность сановников». Никто не смел отказаться... Ведь, все

обещали беспрекословное повиновение «Комитету Государственной Думы». И не было случая отказа... Мы назначили такого-то туда-то—Родзянко подписывал, и человек ехал. Из крупных назначений и удачных было назначение члена Думы инженера Бубликова [121] комиссаром в «Пути сообщения». Он сразу овладел железными дорогами. Может быть, он и сделал кое-какие ошибки, но, благодаря ему, железные дороги не стали. Не помню остальных—их много было... Ведь всюду, всюду требовалось, все учреждения умоляли «прислать члена Государственной Думы». Авторитет их был высок еще... Чем дальше от Таврического дворца,—тем обаяние Государственной Думы было сильнее и воспринималось пока как власть...

* * *

Но здесь... Здесь росло противодействие... Противодействие этого проклятого исполкома, который опирался на всю эту толпу, залепившую Государственную Думу... Ах, если бы у нас был хоть один верный полк, чтобы вымести отсюда всю эту банду и занять караулы...

Но полка нет... И офицеров нет...

* * *

Еще одним бедствием были—аресты... Целый ряд членов Думы занят, исключительно тем, чтобы освобождать арестованных... Еще слава богу, что дан лозунг: «тащи в Думу,—там разберут»... Дума обратилась в громадный участок... С тою только разницей, что раньше в участок таскали городовые, а теперь тащат городовых... Их по преимуществу... Многих убили—«фараонов»... Большинство приволокли сюда, остальные прибежали сами, спасаясь, прослышав, что «Государственная Дума не проливает крови»... За это Керенскому спасибо. Пусть ему зачтут это когда-нибудь. Жалкие эти городовые—сил нет на них смотреть! В штатском, переодетые, испуганные, приниженные, похожие на мелких лавочников, которых обидели, стоят громадной очередью, которая из дверей выходит во внутренний двор Думы и там закручивается... Они ждут очереди быть арестованными... Но, говорят, некоторые герои до сих пор сражаются... Отдельные сидят по крышам с механическими ружьями и отстреливаются. Или это все вздор—эти пулеметы на крышах [122]... Не разберешь, кто их туда послал и даже были ли они там... Во всяком случае, какая невероятная ошибка правительства была разбросать полицию по всему городу... Надо было всех собрать в кулак и выжидать... Когда все части взбунтовались бы, потеряли дисциплину—стройному кулаку их легко было бы раздавить... Но кто это

мог сообразить? Протопопов [123]? Александр Дмитриевич? Министр внутренних дел с прогрессивным параличем. А ведь мы же сами его и подсунули... Ведь он был товарищем председателя Государственной Думы... это положение ведь и был тот трамплин, с которого он прыгнул в министры...

Как все это ужасно!

Арестованных масса... Арестовали и некоторых членов Думы... Кабинет Родзянко мы еще удерживаем... Сюда мы стараемся сконцентрировать арестованных, которых можно немедленно освободить...

* * *

Я не помню точно, когда это было. Но это было в кабинете Родзянко. Я сидел против того большого зеркала, что занимает почти всю стену. Вся большая комната была сплошь набита народом. Беспомощные, жалкие—по стеночкам примостились на уже сильно за эти дни потрепанных креслах и красных шелковых скамейках—арестованные. Их без конца тащили в Думу. Целый ряд членов Государственной Думы только тем и занимался, что разбирался в этих арестованных. Как известно, Керенский дал лозунг: «Государственная Дума не проливает крови». Поэтому Таврический дворец был прибежищем всех тех, кому угрожала расправа революционной демократии. Тех, кого нельзя было выпустить хотя бы из соображений их собственной безопасности, направляли в так называемый «павильон министров», который гримасничающая судьба сделала «павильоном арестованных министров». В этом отношении между Керенским, который главным образом «ведал» арестным домом, и нами установилось немое соглашение. Мы видели, что он играет комедию перед революционным сбродом, и понимали цель этой комедии. Он хотел спасти всех этих людей. А для того, чтобы спасти, надо было сделать вид, что, хотя Государственная Дума не проливает крови, она «расправится с виновными»...

Остальных арестованных (таковых было большинство), которых можно было выпустить, мы передерживали вот тут в кабинете Родзянко. Они обыкновенно сидели несколько часов, пока для них изготовлялись соответственные «документы». Кого тут только не было...

Исполняя тысячу одно поручение, как и все члены комитета, я как-то, наконец, выбившись из сил, опустился в кресле кабинета Родзянко против того большого зеркала... В нем мне была видна не только эта комната, набитая толкающимися и шныряющими во все стороны разными людьми, но видна была и соседняя, «кабинет Волконского», где творилось такое же

столпотворение. В зеркале все это отражалось несколько туманно и несколько картинно...

Вдруг я почувствовал, что из кабинета Волконского побежало особенное волнение, причину которого мне сейчас же шепнули:

— Протопопов арестован!..

И в то же мгновение я увидел в зеркале, как бурно распахнулась дверь в кабинете Волконского и ворвался Керенский. Он был бледен, глаза горели, рука поднята... Этой протянутой рукой он как бы резал толпу... Все его узнали и расступились на обе стороны, просто испугавшись его вида. И тогда в зеркале я увидел за Керенским солдат с винтовками, а между штыками тщедушную фигурку с совершенно затурканным, страшно сжившимся лицом... Я с трудом узнал Протопопова...

— Не сметь прикасаться к этому человеку!..

Это кричал Керенский, стремительно приближаясь, бледный, с невероятными глазами, одной поднятой рукой разрезая толпу, а другой, трагически опущенной, указывая на «этого человека»...

Этот человек был «великий преступник против революции» — «бывший» министр внутренних дел.

— Не сметь прикасаться к этому человеку!..

Все замерли. Казалось, он его ведет на казнь, на что-то ужасное. И толпа расступилась... Керенский пробежал мимо, как горящий факел революционного правосудия, а за ним влекли тщедушную фигурку в помятом пальто, окруженную штыками... Мрачное зрелище...

Прорезав кабинет Родзянко, Керенский с этими же словами ворвался в Екатерининский зал, битком набитый солдатами, будущими большевиками и всяким сбродом...

Здесь начиналась реальная опасность для Протопопова. Здесь могли наброситься на эту тщедушную фигурку, вырвать ее у часовых, убить, растерзать—настроение было накалено против Протопопова до последней степени.

Но этого не случилось. Пораженная этим странным зрелищем—бледным Керенским, влекущим свою жертву,—толпа раздалась перед ними.

— Не сметь прикасаться к этому человеку!..

И казалось, что «этот человек» вовсе уже и не человек...

И пропустили. Он прорезал толпу в Екатерининском зале и в прилегающих помещениях и довел до павильона министров... А когда дверь павильона захлопнулась за ними—дверь охраняли самые надежные часовые — комедия, требовавшая сильного напряжения нервов, кончилась. Керенский бухнулся в кресло и пригласил «этого человека»:

— Садитесь, Александр Дмитриевич!..

* * *

Протопопов пришел сам. Он знал, что ему угрожает, но он не выдержал «пытки страхом». Он предпочел скрыванию, бегании по разным квартирам отдаться под покровительство Государственной Думы.

Он вошел в Таврический дворец и сказал первому попавшемуся студенту:

— Я—Протопопов.

Ошарашенный студент бросился к Керенскому, но по дороге разболтал всем, и к той минуте, когда Керенский успел явиться, вокруг Протопопова уже была толпа, от которой нельзя было ждать ничего хорошего. И тут Керенский нашелся. Он схватил первых попавшихся солдат с винтовками и приказал им вести за собой «этого человека».

* * *

В этот же день Керенский спас и другого человека, против которого было столько же злобы. Привели Сухомлинова. Его привели прямо в Екатерининский зал, набитый сбродом. Расправа уже началась. Солдаты уже набросились на него и стали срывать погоны. В эту минуту подоспел Керенский. Он вырвал старика из рук солдат и, закрывая собой, провел его в спасительный павильон министров. Но в ту же минуту, когда он его впихивал за дверь, наиболее буйные солдаты бросились со штыками.. Тогда Керенский со всем актерством, на какое он был способен, вырос перед ними:

— Вы переступите через мой труп!!

И они отступили...

* * *

Выражение «великая, бескровная» теперь справедливо заплевано, ибо оно стало не только смешным, но кощунственным после тех потоков крови, которые пришли позже... Но Керенский, по крайней мере, свою «бескровную» точку зрения, свою «бескровную» тактику защищал со всей энергией, со всей актерской повелительностью, на которую был способен. Он не только не пролил крови сам, но он употребил все силы своего «драматического таланта», чтобы кровь «при нем» не была пролита.

Многие ли могут похвалиться, что они в известную минуту не закрывали глаз и не умывали рук?..

* * *

В этот день дела испортились в полках. Хотя почти все части, которые являлись в Государственную Думу, были без офицеров, но все же до сих пор открытых враждебных действий против офицерства, как такового, не наблюдалось. А сегодня это началось. И по телефону, и личные делегации из разных петроградских полков стали просить, чтобы приехать повлиять на солдат, которые вышли из повиновения и стали угрожать. Комитет Государственной Думы немедленно занялся этим. Сначала послали желающих, независимо от их левизны. Поехали те, кто чувствовал себя в силах говорить с толпой, — главным образом, звонкий голос... Они поехали, вернулись через некоторое время в очень хорошем настроении. Так, помню, в один из полков послали одного правого националиста, человека искреннего и с убедительными нотками в его несколько бочковатом басе. Он вернулся.

— Да ничего... Хорошо. Я им сказал, — кричат «ура». Сказал, что без офицеров ничего не будет, что родина в опасности. Они кричали «ура». Обещали, что все будет хорошо, они верят Государственной Думе...

— Ну, слава богу...

Только вдруг зазвенел телефон...

— Откуда? Алло?

— Как? Да ведь только что у вас были... все же кончилось очень хорошо... Что, опять волнуются? Кого? Кого-нибудь полевее? Хорошо, сейчас пришлем.

Посылаем Милюкова. Милюков вернулся через час — очень довольный.

— Да вот... Они немного волнуются. Мне кажется, что с ними говорили не на тех струнах... Я говорил в казарме с какого-то эшафота. Был весь полк, и из других частей... Ну, настроение очень хорошее. Меня вынесли на руках...

Но через некоторое время телефон зазвонил снова и отчаянно.

— Алло! Слушаю! Такой-то полк? Как, опять? А Милюков?... Да они его на руках вынесли... Как? Что им надо? Еще левей?... Ну хорошо. Мы пришлем трудовика...

Мы послали, кажется, Скобелева. Он на время успокоил... Затем, кажется, посылали кого-то из эс-деков... Затем?

Затем офицерство стало разбегаться. Их жизни угрожала опасность. Часть покинула казармы, часть со страха сбежала в Государственную Думу...

* * *

День прошел, как проходит кошмар. Ни начала, ни конца, ни середины — все перемешалось в одном водовороте. Депутации каких-то полков; беспрерывный звон телефона; бесконечные вопросы, бесконечное недоумение—«что делать»; непрерывное посылание членов Думы в различные места; совещания между собой; разговоры Родзянко по прямому проводу; нарастающая борьба с исполкомом совдепа, засевшим в одной из комнат; непрерывно повышающаяся температура враждебности революционной мешанины, залепившей Думу; жалобные лица арестованных; хвосты городовых, ищущих приюта в Таврическом дворце; усиливающаяся тревога офицерства — все это переплелось в нечто, чему нельзя дать названия по его нервности, мучительности...

В конце концов, что мы смогли сделать? Трехсотлетняя власть вдруг обвалилась, и в ту же минуту тридцатитысячная толпа обрушилась на голову тех нескольких человек, которые могли бы что-нибудь скомбинировать. Представьте себе, что человека опускают в густую, густую липкую мешанину. Она обессиливает каждое его движение, не дает возможности даже плыть, она слишком для этого вязкая.... Приблизительно в таком мы были положении, и потому все наши усилия были бесполезны — это были движения человека, погибающего в трясине... По этой трясине, прыгая с кочки на кочку, — мог более или менее двигаться — только Керенский...

* * *

Ночью толпа понемногу схлынула. Это не значило, что она ушла совсем. Какие-то военные части ночевали у нас в большом Екатерининском зале.

В полутемноте ряд совершенно посеревших колонн с ужасом рассматривает, что происходит. Они, видевшие Екатерину, они, видевшие «Думу народного гнева», эпоху Столыпина, наконец, неудачные попытки пресловутого «блока» спасти положение, — видят теперь его величество народ во всей его красе. Блестящие паркеты покрылись толстым слоем грязи. Колонны обшарпаны и побиты, стены засалены, меблировка испорчена, — в манеж превращен знаменитый Екатерининский зал.

Все, что можно было испакостить, испакощено — и это символ. Я ясно понял, что революция сделает с Россией: все залепит грязью, а поверх грязи положит валяющуюся солдатню...

* * *

Я вернулся в кабинет Родзянко, который был еще прибежищем. Там все-таки было немного лучше, еще не допустили улицу, еще сохранилось кое-что. На ночь осталось ночевать несколько человек—членов Государственной Думы.

Я улегся на какой-то кушетке. Рядом со мной поместился Некрасов. Он, после Керенского, оказался человеком наиболее приспособленным для скакания по революционному болоту. Он проявлял энергию.

Укладываясь, он сказал мне:

— Вы знаете, что в городе еще происходят бои?

— Как?

— Да... еще кто-то там держится в Адмиралтействе[124]. На Адмиралтейство идут штурмом. Там, кажется, Хабалов еще сидит... Их можно бы разогнать, если бы запалить из Петропавловской крепости...

— Т.-е. как запалить? Ведь мы же, слава богу, не делаем революции.

— Ну да... Но видите... Ведь это же невозможно... Ведь власть все равно сбежала... Правительство сейчас—это Комитет Государственной Думы... Он взял власть в свои руки... Какой же смысл в этом Адмиралтействе?.. Кто там засел и для чего?.. Вот поэтому и неприятно, что Петропавловка не в наших руках..

— Как так?

— Да так... Гарнизон Петропавловской крепости сидит там, и комендант говорит, что он не может, что ему поручено охранять крепость... Ну, словом, они не с нами...

— Т.-е. как не с нами?.. Да ведь с кем же мы? Что же мы в самом деле, с этой... ну, словом, словом, — «с ними»?

— Нет, конечно... Но все же необходимо делать вид... Ведь если нас хоть немного слушаются, то потому, что мы против старой власти...

— Позвольте!.. Мы были против министров... Но когда же мы были против военной власти? Вы же говорите, что там Хабалов — командующий войсками?

— Ну да, конечно, происходит путаница... Ведь надо же чтобы одному кому-нибудь повиновались... Ну, Дума — так Дума... Ну, словом, кому-нибудь из нас надо поехать в Петропавловскую крепость, чтобы все это уладить. Надо поговорить с комендантом... Вы не поехали бы?..

Я соображал...

Пустить несколько снарядов из Петропавловской крепости в Адмиралтейство — до чего додумался Некрасов!.. Этого, именно, как раз ни в коем случае нельзя допустить... Стрелять «по Хабалову»... В то время, когда мы употребляем все усилия, чтобы сохранить авторитет офицеров? Что за галиматья?..

И я решил сам поехать в Петропавловскую крепость...

* * *

Но пришлось ждать утра... Потому что не были готовы воззвания от Комитета Государственной Думы, которые где-то печатались и которые мне надо было отвезти. Я иногда засыпал на несколько минут, потом просыпался и в полутемноте видел Родзянковский кабинет и несколько фигур, свалившихся от усталости... Они лежали там и сям в неудобных позах, истомленные, изведенные... Это были современные «властители России»...

Последние дни «Конституции».

(Продолжение.)

(1-е марта 1917 года.)

Рано утром принесли свеже-пахнувшие типографской краской листки. Их принес кто-то — видимо офицер, но без погон. Откуда он взялся — не знаю. Некрасов рекомендовал мне его взять с собой, так сказать, для сопровожденья... Кроме того, мне дали не то простыню, не то наволоку — это должно было изображать белый флаг... Я вышел на крыльцо,—было холодно и сыро, чуть туманно, но день, кажется, собирался быть солнечным... Несмотря на ранний час, уже было достаточно народу на дворе. Все больше солдаты.

Мне подали автомобиль... Боже мой, неужели мне придется!..

Над автомобилем был красный флаг, и штыки торчали во все стороны... Мой офицер отворил мне дверцу... Ничего не поделаешь...

Стали мелькать знакомые, казавшиеся незнакомыми, улицы... Вот только двое суток прошло, а все кажется новым, как будто прошли годы... Шпалерная... Навстречу нам идут какие-то части с музыкой, очевидно «на поклон» Государственной Думе... Набережная... Неужели это та самая Нева?.. Бродят какие-то беспорядочные толпы вооруженных людей, рычат и проносятся ощетиненные штыками грузовики... Зачем они несутся?.. Сами не знают, конечно... «За свободу»!..

Вот Троицкий мост... Толпа увеличивается по мере приближения к крепости...

На Каменноостровском, против длинных мостков, которые ведут через канал к крепости, — митинг... Откуда взялись эти люди так рано?

Под'ехали к мосткам... Толпа все же не смеет еще проникнуть «туда». Она еще уважает часового... Мой спутник говорит, что надо «махать белым флагом».

Но я отлично вижу в том конце офицера, который явно нас ожидает... Я перед от'ездом приказал позвонить из Государственной Думы...

Я иду по мосткам. Он радостно срывается нам навстречу...

— Мы вас так ждали... Ах, как хорошо, что вы приехали... Пожалуйте — комендант вас ждет...

* * *

Пройдя по бесконечным коридорам, мне до той поры незнакомым, я нашел коменданта, почтенного генерала. С ним было несколько офицеров.

Я сказал коменданту:

— Я прислан сюда для переговоров... от имени Комитета Государственной Думы... Как вы смотрите на положение вещей, ваше превосходительство?

Старый генерал заволновался:

— Да вот, видите... Ведь вы должны нас понимать... Пожалуйста, не думайте, что мы против Государственной Думы... Наоборот, мы понимаем, мы очень рады... что в такое время какая-нибудь власть... Мы всецело подчиняемся Государственной Думе, вот я и г.г. офицеры... Но ведь, я думаю, для каждой власти, для всякого правительства необходимо сохранить то, что у нас под охраной?... У нас, вы знаете, во-первых—царские могилы, потом монетный двор, наконец, арсенал... Ведь вы же подумайте... Это же невозможно, чтоб толпа сюда ворвалась! Это же необходимо охранять для всех, для каждого правительства... Мы не можем то, что нам поручили... мы не можем... мы должны охранять... Это наш долг... присяги...

Я перебил старика...

— Ваше превосходительство, не трудитесь доказывать то, что совершенно ясно для каждого... здравомыслящего человека... Так как вы изволили сказать, что признаете власть Государственной Думы,—то я от имени Государственной Думы—прошу вас и настаиваю... Очень рад, что могу это сделать в присутствии г.г. офицеров... Крепость со всем тем, что в ней есть, должна быть охранена во что бы то ни стало...

Генерал просветлел...

— Ну, вот... Теперь все ясно... Теперь мы спокойны... теперь мы знаем, чего держаться... Но вы не согласны были бы оставить письменный приказ?

Я написал от имени Комитета Государственной Думы приказ коменданту Петропавловской крепости — охранять ее всеми имеющимися в его распоряжении силами и ни в коем случае не пускать толпу на территорию крепости.

Но меня беспокоила одна мысль... Ведь почему Бастилию сожгли? Думали, что в ней политические арестованные, хотя

ни одного арестованного в Бастилии тогда уже не было. Как бы не «повторилась история»...

— Скажите, пожалуйста, у вас есть арестованные — политические?

— Нет ... есть только одиннадцать солдат, арестованных уже за эти беспорядки...

— Этих вам придется выпустить...

— Сейчас будет сделано.

— Но я не этим интересуюсь... есть ли политические... которых освобождения могут «требовать»? Вы понимаете меня?

— Понимаю... Нет ни одного... Последний был генерал Сухомлинов... Но и он освобожден несколько времени тому назад...

— Неужели все камеры пусты?

— Все... Если желаете, можете убедиться...

— Нет, мне убеждаться не надо... Но вот те, — там на Каменноостровском — могут не поверить... И потому сделаем так: если от меня приедут члены Государственной Думы и предъявят мою записку,—предоставьте им взять несколько человек из толпы и покажите им все камеры... Пусть убедятся сами...

— Слушаюсь, но только по вашей записке...

— Да, до свидания...

Мы стали уходить, но ко мне обратились с просьбой несколько офицеров — сказать речь гарнизону, который волнуется.

— Поддержите нас... офицеров... чтобы они знали, что Государственная Дума требует дисциплины...

Во дворе был выстроен гарнизон... Раздалась команда: «Смирно!»...

Я сказал им речь... Я говорил о том, что в то время, когда происходят такие большие события, нужно помнить об одном, — что идет война, что все мы находимся под взглядом врага, который сторожит, чтобы на нас броситься, и, если чуточку ослабеем, — сметет нас... И все пойдет прахом... И вместо свободы, о которой мы мечтаем, — получим немца на шею... А всякий военнослужащий знает, что армия держится только одним — дисциплиной... Нравится начальник или не нравится, это не имеет никакого значения: об этом про себя рассуждай, у себя в душе, а повинуйся ему не как человеку, а как начальнику... В этом и есть разумная свобода... «Повинуюсь потому, что люблю родину, и не позволю, чтобы враг ее раздавил». Господа офицеры, с которыми я только что говорил, находятся в полном согласии с Государственной Думой; Государственная Дума в моем лице отдает приказ защищать крепость во что бы то ни стало!..

И так далее в этом роде...

Слушали, повидимому, понимали и даже сочувствовали...

Когда я кончил, кто-то крикнул:

— Ура товарищу Шульгину...

Но, уходя под это «ура», я очень ясно чувствовал, что дело скверно...

* * *

Перейдя мостки, я увидел, что толпа на Каменноостровском страшно увеличилась и возбуждена... Но тут сопровождавший меня офицер оказался как раз у места. Он вскочил на автомобиль и, стоя, разразился своеобразной речью, из которой можно было понять, что Петропавловская крепость «за свободу» и все вообще благополучно... Толпа кричала «ура!» и почему-то пришла в благодушное настроение...

В это время я увидел, что через Троицкий мост несется к нам несколько грузовиков, угрожающе разукрашенных красными флагами и торчащими штыками... Бешено рыча моторами, они остановились перед мостками, рядом с нашей машиной... Люди были в большом возбуждении, щелкали затворами и кричали:

— Почему она (крепость) красного флага не подняла? Открыть военные действия!..

Мой офицер перескочил с сидения нашего автомобиля на мотор грузовика и завопил оглушительно:

— Дурачье набитое! Открыть ему «военные действия»! А какого чорта тебе «действия»... когда она бездействует!.. Вот член Государственной Думы!.. Все уже там сделал. Крепость — за свободу, за народ... а ему — «военные действия»... Повоевать захотелось?.. Не навоевались?!.

Он сделал смешную, презрительную рожу. Толпа стала на его сторону...

— Ну, проваливай, «военные действия»! Тоже!

Те смутились. Мой офицер не дал им опомниться...

— Заворачивай...

Завернули и поехали...

Так я «взял» Петропавловскую крепость... Некрасов мог быть доволен.

* * *

Возвращаюсь в Государственную Думу. Толпа стоит огромная, заняв не только двор полностью, но и Шпалерную... Наш автомобиль с трудом пробивает себе дорогу... Мой офицер кричит:

— Пропустите члена Государственной Думы...

И пропускают. Теснятся... Мы продираемся сквозь это живое мясо. Я сидел прямо, глядя перед собой... Мне противно было смотреть на них... Бог его знает как, — они это почувствовали... Когда автомобиль застрял в воротах, я разобрал насмешливое замечание:

— Какая величественность во взгляде...

Я предпочел «не услышать».

* * *

Все пространство между крыльями Таврического дворца набито людьми. Рыжевато-серо-черная масса, изукрашенная штыками. Солдаты, рабочие, интеллигенты... Революционный народ...

Господи, чего им надо? Моя машина под протекторатом красного флага пробивается через эту кашу...

Слава богу, наконец, я опять в Таврическом дворце... Слава богу? Да... Да — там, в «кабинете Родзянко», есть еще близкие люди. Да, близкие потому, что они жили на одной со мной планете. А эти? Эти — из другого царства, из другого века... Эти — это страшное нашествие нео-варваров, столько раз предчувствуемое и, наконец, сбывшееся .. Это — скифы. Правда, они с аттрибутами XX века — с пулеметами, с дико-рычащими автомобилями... Но это внешнее... В их груди косматое, звериное, истинно-скифское сердце...

* * *

Вышел из автомобиля... Пробиваюсь через залы Таврического дворца...

Все то же.

Все та же толпа, все тот же митинг, все то же завывание марсельезы ..

Но есть новое...

За столиками, примостившись где-нибудь между обшарпанных, когда-то белых колонн, сидят барышни-еврейки, с виду — дантистки, акушерки, фармацевтки, и торгуют «литературой»...

Это маркитантки революции...

* * *

В разных комнатах на дверях бумажки с надписями... Какие-то «бюро», «учреждения» с дикими названиями... Очевидно, они прочно оседают... они завоевывают Таврический дворец шаг за шагом...

* * *

Пробиваюсь в кабинет Родзянко. Но что же это такое? И тут «они»!

Где же — «мы»?

— Пожалуйте, Василий Витальевич, — Комитет Государственной Думы перешел в другое помещение...

Вот оно — это «другое помещение». Две крохотные комнатки в конце коридора, против библиотеки... где у нас были самые какие-то неведомые канцелярии...

Вот откуда будут управлять отныне Россией...

* * *

Но здесь я нашел всех своих. Они сидели за столом, покрытым зеленым бархатом... Посередине — Родзянко, вокруг остальные... Керенского не было... Но не успел я рассказать, что было в Петропавловке, как дверь «драматически» распахнулась. Вошел Керенский... за ним двое солдат с винтовками. Между винтовками какой-то человек с пакетами.

Трагически-«повелительно» Керенский взял пакет из рук человека...

— Можете итти...

Солдаты повернулись по-военному, а чиновник просто. Вышли...

Тогда Керенский уронил нам, бросив пакет на стол:

— Наши секретные договоры с державами... Спрячьте...

И исчез так же драматически...

* * *

— Господи, что же мы будем с ними делать? — сказал Шидловский, — ведь даже шкафа у нас нет...

— Что за безобразие, — сказал Родзянко. — Откуда он их таскает?

Он не успел разразиться: его собственный секретарь вошел поспешно.

— Разрешите доложить... Пришли матросы... Весь гвардейский экипаж... Желают видеть председателя Государственной Думы...

— А чорт их возьми совсем! Когда же я займусь делами? Будет этому конец?

Секретарь невозмутимо переждал бутаду.

— С ними и великий князь Кирилл Владимирович...

— Надо итти, — сказал кто-то.

Родзянко, ворча, пошел. Был он огромный и внушительный. Нес он в эти дни «свое положение» самоотверженно. С утра до вечера и даже ночью ходил он на крыльцо или на улицу и принимал «поклонение частей». Солдаты считали каким-то своим долгом явиться в Государственную Думу, словно принять новую присягу. Родзянко шел, говорил своим запо-

рожским басом колокольные речи, кричал о родине, о том, что «не позволим врагу, проклятому немцу, погубить нашу матушку Русь»... — и все такое говорил, и вызывал у растроганных (на минуту) людей громовое «ура»... Это было хорошо — один раз, два, три... Но без конца и без счета — это была тяжкая обязанность, каторжный труд, который совершенно отрывал от какой бы то ни было возможности работать... А ведь «Комитет Государственной Думы» пока заменял все... Власть, и закон и исполнителей... Родзянко был на положении председателя Совета Министров... И вот «положение»... Премьер, вместо того, чтобы работать, каждую минуту должен бегать на улицу и кричать «ура», а члены правительства одни — «берут крепости», другие — ездят по полкам, третьи — освобождают арестованных, четвертые — просто теряют голову, заталкиваемые лавиной людей, которые все требуют, просят, молят руководства...

Я видел, что так не может продолжаться: надо правительство. Надо как можно скорее правительство...

Куда же деть эти секретные договоры? Это ведь самые важные государственные документы, какие есть. Откуда Керенский их добыл?

Этот человек был из министерства иностранных дел... Очевидно, видя, что делается, он бросился к Керенскому, так как боялся, что не в состоянии будет их сохранить... А Керенский приволок сюда...

Что за чепуха!.. Так же нельзя! Ну, спасли эти договоры — но все остальное могут растащить... Мало ли по всем министерствам государственно-важных документов?.. Неужели же всех их сюда свалить?

И куда? Нет не только шкафа, но даже ящика нет в столе... Что с ними делать?

Но кто-то нашелся.

— Знаете что — бросим их под стол... Под скатертью ведь совершенно не видно... Никому в голову не придет искать их там... Смотрите...

И пакет отправился под стол... Зеленая бархатная скатерть опустилась до самого пола... Великолепно. Как раз самое подходящее место для хранения важнейших актов Державы Российской...

Полно! Есть ли еще эта держава? Государство ли это, или сплошной, огромный, колоссальный сумасшедший дом?

* * *

Опять Керенский... Опять с солдатами. Что еще они тащат?

— Можете итти...

Вышли...

— Тут два миллиона рублей. Из какого-то министерства притащили... Так больше нельзя... Надо скорее назначить комиссаров... Где Михаил Владимирович?

— На улице...

— Кричит ура? Довольно кричать ура. Надо делом заняться... господа члены Комитета!..

Он исчез. Исчез трагически-повелительный...

* * *

Мы бросили два миллиона к секретным договорам, т.-е. под стол, — не «под сукно», а под бархат...

Я подошел к Милюкову, который что-то писал на уголке стола.

— Павел Николаевич...

Он поднял на меня глаза.

— Павел Николаевич, — довольно этого кабака. Мы не можем управлять Россией из-под стола... Надо правительство...

Он подумал.

— Да, конечно, надо... Но события так бегут...

— Это все равно... Надо правительство, и надо, чтобы вы его составили... Только вы можете это сделать... Давайте подумаем, кто да кто..

Подумать не дали.

Взволнованные голоса в соседней комнате... Несколько членов Государственной Думы — не членов Комитета — вошли, так сказать, штурмом...

— Господа, простите, но так нельзя... Надо сделать что-нибудь... В полках бог знает что происходит. Там скоро будут убивать, если не убивают... Надо спасти...

— Кого убивают? Что такое?..

— Офицеров... Надо помочь... надо!..

* * *

Конечно, надо помочь... Несколько офицеров было тут же... Растерянные, бледные... Мы спешно послали несколько человек... Поехал и Милюков.. Остальные... остальные остались, так сказать, дежурить, ибо было постановлено, что Комитет заседает всегда — не расходится до выяснения положения...

* * *

Опять? Что еще такое?

— В Екатерининском зале огромная депутация... Надо, чтобы кто-нибудь к ним вышел... их там обрабатывают левые... Ради бога, господа...

Мы переглянулись...

— Сергей Илиодорович, пойдите...

Шидловский поморщился, но сказал:

— Иду...

* * *

В сотый раз вернулся Родзянко... Он был возбужденный, более того — раз'яренный... Опустился в кресло...

— Ну, что? как?

— Как? Ну и мерзавцы же эти...

Он вдруг оглянулся.

— Говорите, их нет...

«Они» — это был Чхеидзе и еще кто-то, словом, левые...

— Какая сволочь! Ну, все было очень хорошо... Я им сказал речь... Встретили меня как нельзя лучше... Я сказал им патриотическую речь, — как-то я стал вдруг в ударе... Кричат «ура». Вижу — настроение самое лучшее... Но только я кончил, кто-то из них начинает...

— Из кого?..

— Да из этих... как их... собачьих депутатов... От Исполкома, что-ли — ну, словом, от этих мерзавцев...

— Что же они?

— Да вот именно, что же?.. «Вот председатель Государственной Думы все требует от вас, чтобы вы, товарищи, русскую землю спасали... Так ведь, товарищи, это понятно... У господина Родзянко есть что спасать... не малый кусочек у него этой самой русской земли в Екатеринославской губернии, да какой земли!.. А, может быть, и еще в какой-нибудь есть?... Например, в Новгородской?... Там, говорят, едешь лесом, что ни спросишь: чей лес? — отвечают: — Родзянковский... Так вот, Родзянкам и другим помещикам Государственной Думы есть что спасать... Эти свои владения, княжеские, графские и баронские... они и называют русской землей... Ее и предлагают вам спасать, товарищи... А вот вы спросите председателя Государственной Думы, будет ли он так же заботиться о спасении русской земли, если эта русская земля... из помещичьей... станет вашей, товарищи?» Понимаете, вот скотина!

— Что же вы ответили?

— Что я ответил? Я уже не помню, что я ответил... Мерзавцы!..

Он так стукнул кулаком по столу, что запрыгали под скатертью секретные документы.

— Мерзавцы! Мы жизнь сыновей отдаем своих, а это хамье думает, что земли пожалеем. Да будет она проклята, эта земля, на что она мне, если России не будет? Сволочь подлая. Хоть рубашку снимите, но Россию спасите. Вот что я им сказал.

Его голос начинал переходить пределы...

— Успокойтесь, Михаил Владимирович.

* * *

Но он долго не мог успокоиться... Потом...

Потом поставил нас в «курс дел»... Он все время ведет переговоры со Ставкой и с Рузским... Он, Родзянко, все время по прямому проводу сообщает, что происходит здесь, сообщает, что положение вещей с каждой минутой ухудшается; что правительство сбежало; что временно власть принята Государственной Думой, в лице ее Комитета, но что положение ее очень шаткое, во-первых, потому, что войска взбунтовались — не повинуются офицерам, а, наоборот, угрожают им, во-вторых, потому, что рядом с Комитетом Государственной Думы вырастает новое учреждение — именно «исполком», который, стремясь захватить власть для себя, — всячески подрывает власть Государственной Думы, в-третьих, вследствие всеобщего развала и с каждым часом увеличивающейся анархии; что нужно принять какие-нибудь экстренные, спешные меры; что в начале казалось, что достаточно будет ответственного министерства, но, с каждым часом промедления — становится хуже; что требования растут... Вчера уже стало ясно, что опасность угрожает самой монархии... возникла мысль, что все сроки прошли и что, может быть, только отречение государя-императора в пользу наследника может спасти династию... Генерал Алексеев примкнул к этому мнению...

— Сегодня утром, — прибавил Родзянко, — я должен был ехать в Ставку для свидания с государем-императором, доложить его величеству, что, может быть, единственный исход — отречение... Но эти мерзавцы узнали... и, когда я собирался ехать, сообщили мне, что ими дано приказание не выпускать поезда... Не пустят поезда! Ну, как вам это нравится? Они заявили, что одного меня они не пустят, а что должен ехать со мной Чхеидзе и еще какие-то... Ну, слуга покорный, — я с ними к государю не поеду... Чхеидзе должен был сопровождать батальон «революционных солдат». Что они там учинили бы?.. Я с этим скот...[125].

Меня вызвали по совершенно неотложному делу...

* * *

Это был тот офицер, который ездил со мной «брать Петропавловку».

— Там неблагополучно... Собралась огромная толпа... тысяч пять... Требуют, чтобы выпустили арестованных...

— Да ведь их нет!..

— Не верят... Я только-что оттуда... Гарнизон еле держится... Каждую минуту могут ворваться... Я их успокоил на минутку, сказал, что сейчас еду в Государственную Думу и что кто-нибудь приедет... Но надо спешить...

— Сейчас...

Я сел к столу и стал писать ту записку, о которой условился с комендантом...

Потом, — не знаю уже, как и почему, — передо мной очутились члены Государственной Думы Волков [126] (кадет) и Скобелев (социалист).

— Господа, поезжайте... Помните Бастилию: она была сожжена только потому, что не поверили, что нет заключенных... Надо, чтоб вам поверили!..

Волков, с живыми глазами, сильно воспринимал... Скобелев, немножко заикающийся, тоже хорошо чувствовал — я видел.

Я сказал ему:

— Ведь они вас знают... Вы популярны... Скажите им речь.

Они поехали...

* * *

Я застал Комитет в большом волнении... Родзянко бушевал...

— Кто это написал? Это они, конечно, мерзавцы. Это прямо для немцев... Предатели... Что теперь будет?

— Что случилось?..

— Вот, прочтите.

Я взял бумажку, думая, что это прокламация... Стал читать... и в глазах у меня помутилось... Это был знаменитый впоследствии «приказ № 1» [127].

— Откуда это?

— Расклеено по всему городу... на всех стенках...

Я почувствовал, как чья-то коричневая рука сжала мое сердце.

Это был конец армии...

* * *

Последствия немедленно сказались... Со всех сторон стали доходить слухи, что офицеров изгоняют, арестовывают... Офицерство стало метаться... Многие, боясь, пробивались в Государственную Думу... помня лозунг: «Государственная Дума не проливает крови». Другие стали по чьему-то приглашению собираться в зал Армии и Флота, на углу Литейного и Кирочной... Стало известно, что около 2.000 офицеров собралось там и что идет заседание... Настроение большинства за «Государственную Думу» и «за порядок». Третьи увеличили число людей, осаждавших Комитет Государственной Думы, прося указаний...

С каждым часом настроение ухудшалось... Из различных мест сообщалось о насилии над офицерами...

* * *

Это были решающие минуты... Если бы можно было вооружить собравшихся в зале Армии и Флота офицеров, а главное, если бы можно было на них рассчитывать, т.-е. если бы это были люди, пережившие все то, что они пережили впоследствии, скажем, корниловского закала, если бы кто-нибудь понял значение военных училищ и, главное, если бы был человек калибра Петра I или Николая I, — эта минута могла спасти все... Можно было раздавить бунт, ибо весь этот «революционный народ» думал только об одном, — как бы не итти на фронт... Сражаться он бы не стал... Надо было бы сказать ему, что Петроградский гарнизон распускается по домам... Надо было бы мерами исключительной жестокости привести солдат к повиновению, выбросить весь сброд из Таврического дворца, восстановить обычный порядок жизни и поставить правительство, не «доверием страны облеченное», а опирающееся на настоящую гвардию... Да, на настоящую гвардию...

Гвардии у нас не было... Были гвардейские полки... Но чем они отличались от не-гвардейских?... Тем, что гвардейские офицеры принадлежали к аристократическим фамилиям? Но аристократия далеко не всегда была опорой престола... Начиная с Иоанна Грозного и даже гораздо раньше, часть знати вела борьбу с монархией... Особенно резко это выразилось в выступлении декабристов [128], но и вообще было так: знатное происхождение совершенно не обеспечивало «политической благонадежности». Стоит только просмотреть списки кадет и «примыкающих», чтобы понять, где была знать...

Так было вообще. Что же касается государя Николая II, то здесь был еще специальный разрыв, вследствие личных качеств императора и императрицы. Поэтому гвардейские офицеры вовсе не были тем элементом, на который можно было опереться в ту минуту, когда даже династия переделилась..

Но главное не в этом... Главное состояло в том, что давно уже было утрачено, а, может быть, его никогда и не было, — утрачено истинное понимание, что такое гвардия...

Лейб-гвардия, собственно, должна быть «телохранительницей верховной власти». Понимая это более широко — гвардия должна быть тем кулаком, который принудит к повиновению всякого, не подчиняющегося власти... Другими словами: назначение гвардии — повиноваться и действовать именно тогда, когда все остальное не хочет повиноваться, т.-е. во время народных движений, волнений, бунтов, восстаний...

Достаточно ли, чтобы такой корпус имел только одних офицеров, на которых можно положиться? Это нелепость... Разве офицеры могут что-нибудь сделать во время солдатских бунтов? Опыт показал, что в гвардейских частях солдаты раньше, чем в других, бунтовались.

Что ж это за гвардия? Гвардия должна состоять из солдат, не менее офицеров, настроенных гвардейски... Поэтому в гвардии должны служить люди не по набору, а добровольно и за хорошее жалованье... И притом это должны быть люди с известной закваской — каждый персонально известный, а не вербоваться по росту: кто выше всех ростом — тот гвардеец. Как будто преданность верховной власти есть функция роста: все большие — монархисты, а все маленькие — республиканцы!..

И притом — нельзя пускать гвардию на войну... Пусть поклонники принципа «pereat patria, fiat justitia» говорят что угодно... Пусть сколько угодно возмущаются «сытыми краснощекими гвардейцами», которые сидят в тылу — пусть называют их бездельниками и трусами — но на это не следует обращать внимания... Полиция тоже дородная и краснощекая, а посылать ее на войну нельзя, сколько бы ни возмущался этим А. И. Шингарев... Одно из двух: или гвардия нужна, или нет... Если не нужна, то ее вообще не должно быть, а если нужна, то больше всего, нужнее всего она во время тяжелой войны, когда можно ожидать бунтов, революций и всякой мерзости... Гвардия должна остаться в полной неприкосновенности, и назначение ее не против врагов внешних, а против врагов внутренних... Сражаться с врагом внешним можно до последнего солдата армии и до первого солдата гвардии... Гвардия должна быть на случай проигранной

войны... Тогда она вступает в действие, одной рукой приводит в христианский вид деморализованную поражением армию, другой — удерживает в границах повиновения бунтующееся население...

Проигранная война всегда грозит революцией... Но революция неизмеримо хуже проигранной войны. Поэтому гвардию нужно беречь для единственной и почетной обязанности — бороться с революцией...

Представим себе, что в 1917 году мы бы имели нетронутую и совершенно надежную в политическом смысле гвардию. Никакой революции не произошло бы. Самое большое, что случилось бы, — это отречение императора Николая II. Затем допустим, что разложившаяся армия бросила бы фронт. Новый император или регент заключил бы мир — пусть невыгодный, но что же делать?.. Затем при помощи гвардии восстановил бы порядок повсюду, ибо мы отлично знаем, что взбунтовавшиеся войска неспособны бороться с полками, сохранившими дисциплину... Пусть беспорядки продолжались бы год, два, три... — все равно: власть, опирающаяся на твердую силу, восторжествовала бы, тем более, что с каждым днем анархия надоедала бы...

Итак, быть может, главный грех старого режима был тот, что он не сумел создать настоящей гвардии... Пусть это будет наукой будущим властителям...

* * *

Я отвлекся. Продолжаю. Вернулись Волков и Скобелев. Они были возбуждены и довольны.

— Ну, удалось?

— Удалось... Кажется, теперь уже успокоятся...

— Расскажите...

— Мы застали толпу в сильнейшем возбуждении...

— Большая толпа?..

— Огромная... Весь Каменноостровский сплошь — много тысяч ..

— Чего же они хотели?

— Выдачи арестованных... Рвались в крепость. Вы не даром упомянули о Бастилии... Так оно и было...

— Гарнизон?

— Гарнизон еще держался... Но они были страшно перепуганы... не знали что делать .. пустить оружие в ход?! Боялись... Да и не знали будут ли солдаты действовать...

— Что вы сделали?

— Мы, во-первых, заявили, что мы члены Государственной Думы... Нас приняли хорошо, кричали «ура». Тогда мы об-

явили, что пойдем осматривать камеры... И предложили... Словом, захватили с собой, так сказать, понятых...

— Ну?

— Пред'явили ваш пропуск... Нас очень любезно приняли и водили повсюду...

— Никого нет?

— Никого решительно... Мы тогда вышли к ним... Об'яснили, что никого нет... Очень помогал этот офицер ваш — молодец! И потом, понятно, конечно, они тоже говорили и об'ясняли... Были, конечно, сомневающиеся... Но громадное большинство поняло, что дело чистое... Благодарили, кричали «ура». Мы им сказали речь. Просили их разойтись по домам... не затруднять, так сказать, «дела свободы»... Скобелев очень хорошо говорил.

* * *

Это, кажется, единственное дело, которым я до известной степени могу гордиться... Петропавловскую крепость с могилами императоров удалось спасти таким маневром. Уцелела «русская Бастилия», в которой в течение двух веков консервировались «борцы за свободу», те, которые столько времени сеяли «разумное, доброе, вечное» и, наконец, дождались всхода своих посевов...

О, скажет вам спасибо сердечное, скажет — русский народ...

Подождите только...

* * *

Я не помню. Тут начинается в моих воспоминаниях кошмарная каша, в которой перепутываются: бледные офицеры; депутации, ура, марсельеза; молящий о спасении звон телефонов; бесконечная вереница арестованных; хвосты несчетных городовых; роковые ленты с прямого провода; бушующий Родзянко; внезапно появляющийся, трагически исчезающий Керенский; спокойно-обреченный Шидловский; двусмысленный Чхеидзе; что-то делающий Энгельгардт [129]; весьма странный Некрасов; раздражительный Ржевский... Минутные вспышки не то просветления, не то головокружения, когда доходят вести, что делается в армии и в России... Отклики уже начали поступать: телеграммы, в которых в восторженных выражениях приветствовалась «власть Государственной Думы»...[130]

Да, так им казалось издали... Слава богу, что так казалось... На самом деле — никакой власти не было. Была, с одной стороны, кучка людей, членов Государственной Думы, совершенно задавленных или, вернее, раздавленных тяжестью

того, что на них свалилось. С другой стороны, была горсточка негодяев и маниаков, которые твердо знали, чего они хотели, но то, чего они хотели, было ужасно: это было — в будущем разрушение мира, сейчас — гибель России... Приказ № 1, который валялся у нас на столе, был этому доказательством...

Но, все-таки, что-то надо было делать и во что бы то ни стало надо было ввести какой-нибудь порядок в надвигающуюся анархию. Для этого прежде всего и во что бы то ни стало надо образовать правительство. Я повторно и настойчиво просил Милюкова, чтобы он, наконец, занялся списком министров. В конце концов он «занялся».

* * *

Между бесконечными разговорами с тысячью людей, хватающих его за рукава, принятием депутации, речами на нескончаемых митингах в Екатерининском зале; сумасшедшей ездой по полкам; обсуждением прямопроводных телеграмм из Ставки; грызней с возрастающей наглостью «исполкома» — Милюков, присевший на минутку где-то на уголке стола, — писал список министров...

И несколько месяцев тому назад, и перед самой революцией я пытался хоть сколько-нибудь выяснить этот злосчастный список. Но мне отвечали, что «еще рано». А вот теперь... теперь, кажется, было поздно...

* * *

— Министр финансов?.. Да вот видите... это трудно... Все остальные как то выходят, а вот министр финансов...

— А Шингарев?

— Да нет, Шингарев попадает в земледелие.

— А Алексеенко умер...

Счастливый Алексеенко. Его тело везли в торжественном катафалке навстречу революционному народу, стремившемуся в Таврический дворец...

— Кого же?

Мы стали думать. Но думать было некогда. Ибо звонки по телефону трещали из полков, где начались всякие насилия над офицерами... А терявшая голову человеческая гуща зажимала нас все теснее липким повидлом, в котором нельзя было сделать ни одного свободного движения.

Надо было спешить... Мысленно несколько раз пробежав по расхлябанному морю знаменитой «общественности», пришлось убедиться, что в общем плохо...

Князь Львов, о котором я лично не имел никакого понятия, «общественность» твердила, что он замечательный, потому

что управлял «Земгором», непререкаемо в'ехал в милюковском списке на пьедестал премьера...

А кого мы, не-кадеты, могли бы предложить?

Родзянко?

Я бы лично стоял за Родзянко, он, может быть, наделал бы неуклюжестей, но, по крайней мере, он не боялся и декламировал «родину-матушку» от сердца и таким зычным голосом, что полки каждый раз кричали за ним «ура»...

Правда, были уже и такие случаи, что после речей левых тот самый полк, который только что кричал: «Ура Родзянко!», неистово вопил: «Долой Родзянко!». То была работа «этих мерзавцев»... Но, может быть, именно Родзянко скорее других способен был с ними бороться, а впрочем — нет, Родзянко мог бы бороться, если бы у него было два—три совершенно надежных полка. А так как в этой проклятой каше у нас не было и трех человек надежных, то Родзянко ничего бы не сделал. И это было совершенно ясно хотя бы потому, что, когда об этом заикались, все немедленно кричали, что Родзянко «не позволят левые».

То-есть как это «не позволят»?! Да так. В их руках все же была кой-какая сила, хоть и в полуанархическом состоянии... У них были какие-то штыки, которые они могли натравить на нас. И вот эти «относительно владеющие штыками» соглашались на Львова, соглашались потому, что кадеты все же имели в их глазах известный ореол. Родзянко же был для них только «помещик» екатеринославский и новгородский, чью землю надо прежде всего отнять...

Итак, Львов — премьер... Затем министр иностранных дел — Милюков, это не вызывало сомнений. Действительно, Милюков был головой выше других и умом и характером. Гучков — военный министр. Гучков издавна интересовался военным делом, за ним числились несомненные заслуги. Будучи руководителем 3-й Государственной Думы, он очень много сделал для армии. Он настоял на увеличении вдвое нашего артиллерийского запаса. Он старался продвинуть в армию все наиболее талантливое. Он первый дешифрировал Мясоедова...

Шингарев, как министр земледелия, тоже был признанным авторитетом. Неизвестно, собственно говоря, почему, ибо придирчивая критика реформы Столыпина была не плюс, а минус... Но это в наших глазах. А в глазах кадетских — совсем наоборот.

Прокурор святейшего Синода? Ну, конечно, Владимир Николаевич Львов. Он такой «церковник» и так много что-то «обличал» с кафедры Государственной Думы...

С министром путей сообщения было несколько хуже, но все-таки оказалось, что инженер Бубликов, он же член Государственной Думы, он же решительный человек, он же приемлемый для левых, «яко прогрессист» — подходит.

Но вот министр финансов не давался, как клад...

И вдруг каким-то образом в список вскочил Терещенко [131].

* * *

Михаил Иванович Терещенко был очень мил, получил европейское образование, великолепно «лидировал» автомобиль и вообще производил впечатление дэнди гораздо более, чем присяжные аристократы. Последнее время очень «интересовался революцией», делая что-то в военно-промышленном комитете [132]. Кроме того, был весьма богат.

Но почему, с какой благодати он должен был стать министром финансов?

А вот потому, что бог наказал нас за наше бессмысленное упрямство. Если старая власть была обречена благодаря тому, что упрямилась, цепляясь за своих Штюрмеров, то так же обречены были и мы, ибо сами сошли с ума и свели с ума всю страну мифом о каких-то гениальных людях, — «общественным доверием облеченных», которых на самом деле вовсе не было ..

Очень милый и симпатичный Михаил Иванович, которому, кажется, было года 32, — каким общественным доверием он был облечен на роль министра финансов огромной страны, ведущей мировую войну, в разгаре революции?..

Так, на кончике стола, в этом диком водовороте полусумасшедших людей, родился этот список из головы Милюкова, при чем и голову эту пришлось сжимать обеими руками, чтобы она хоть что-нибудь могла сообразить. Историки в будущем, да и сам Милюков, вероятно, изобразят это совершенно не так: изобразят как плод глубочайших соображений и результат «соотношения реальных сил». Я же рассказываю, как было. Тургенев [133] утверждал, что у русского народа «мозги — набекрень». Все наше революционное движение ясно обнаружило эту мозгобекренность, результатом которой и был этот список полуникчемных людей, как приз за сто лет «борьбы с исторической властью»...

* * *

Тяжелее и глупее всего было в этой истории положение наше, — консервативного лагеря. Ненависть к революции мы всосали, если не с молоком матери, то с Японской войной. Мы боролись с революцией, сколько хватало наших сил, всю жизнь. В 1905 мы ее задавили. Но вот в 1915, главным

образом, потому, что кадеты стали полу-патриотами, нам, патриотам, пришлось стать полу-кадетами. С этого все и пошло. «Мы будем твердить: все для войны, — если вы будете бранить власть»... И вот мы стали ругаться, чтобы воевали. И в результате оказались в одном мешке с революционерами, в одной коллегии с Керенским и Чхеидзе...

* * *

Нерассказываемый и непередаваемый бежал день... зарываясь в безумие... и грозя кровью...

* * *

Вечером додумались пригласить в «Комитет Государственной Думы» делегатов от «Исполкома», чтобы договориться до чего-нибудь [134]. Всем было ясно, что вырастающее двоевластие представляет грозную опасность. В сущности вопрос стоял — или мы, или они. Но «мы» не имели никакой реальной силы. Ее заменял дождь телеграмм, выражавших сочувствие Государственной Думе. «Они» же не имели еще достаточно силы. Хотя в их руках была бесформенная масса взбунтовавшегося Петроградского гарнизона, но в глазах России происшедшее сотворилось «силою Государственной Думы». Надо было сначала этот престиж подорвать, чтобы можно было нас ликвидировать. Поэтому мы их позвали, а они — пришли...

* * *

Пришло трое... Николай Дмитриевич Соколов, присяжный поверенный, человек очень левый и очень глупый, о котором говорили, что он автор приказа № 1. Если он его и писал, то под чью-то диктовку. Кроме Соколова пришло двое, — двое евреев. Один — впоследствии столь знаменитый Стеклов-Нахамкес [135], другой — менее знаменитый Суханов-Гиммер, но еще более, может быть, омерзительный...

* * *

Я не помню, с чего началось. Очевидно, их упрекали в том, что они ведут подкоп против Комитета Государственной Думы, что этим путем они подрывают единственную власть, которая имеет авторитет в России и может сдержать анархию. Я не помню, что они отвечали, но явственно почему-то помню свою фразу:

— Одно из двух: или арестуйте всех нас, посадите в Петропавловку и правьте сами. Или уходите и дайте править нам.

И помню ответ Стеклова:

— Мы не собираемся вас арестовывать...

* * *

Стеклов был похож на красивых местечковых евреев, какими бывают содержатели гостиниц, когда их сыновья получают высшее образование... Впрочем, это все равно. Разве иные русские, кончившие два факультета, были умнее и лучше его?.. Во всяком случае это был весьма здоровенный человек, с большой окладистой бородой, так что на первый взгляд он мог сойти за московского «русака»...

Гиммер — худой, тщедушный, бритый, с холодной жестокостью в лице, до того злобном, что оно даже иногда переставало казаться актерским... У дьявола мог бы быть такой секретарь...

За этих людей взялся Милюков. С упорством, ему одному свойственным, он требовал от них: написать воззвание, чтобы не делали насилий над офицерами.

Сама постановка дела ясно показывала, куда мы докатились. Чтобы спасти офицеров, мы должны были чуть-ли не на коленях умолять двух мерзавцев «из жидов» и одного «русского дурака», никому неизвестных, абсолютно ничего из себя не представляющих.

Кто это—мы? Сам Милюков, прославленный российской общественности вождь, сверх-человек народного доверия! И мы—вся остальная дружина, которые, как-никак, могли себя считать «всероссийскими именами».

И вот со всем нашим всероссийством мы были бессильны. Нахамкес и Гиммер, неизвестно откуда взявшиеся, — они были властны решить, будут ли этой ночью убивать офицеров или пока помилуют...

* * *

Каким образом это произошло, даже трудно понять, но это так.

И Милюков убеждал, умолял, заклинал...

* * *

Это продолжалось долго, бесконечно... Это не было уже заседание. Было так... Несколько человек, совершенно изнеможенных, лежали в креслах, а эти три пришельца сидели за столиком вместе с седовласым Милюковым. Они, собственно, вчетвером вели дебаты, мы изредка подавали реплики из глубины прострации...

Керенский то входил, то выходил, как всегда, — молниеносно и драматически. Он бросал какую-нибудь трагическую фразу и исчезал. Но в конце концов совершенно изнеможенный и он упал в одно из кресел...

Милюков продолжал торговаться...

* * *

Неподалеку от меня, в таком же рамольном кресле, маленький, худой, заросший, лежал Чхеидзе.

Не помогло и кавказское упрямство. И его сломило...

В это время Милюков с этими тремя вел бесконечный спор насчет «выборного офицерства». В этот спор иногда припутывался Энгельгардт, который, как полковник генерального штаба, считался специалистом военного дела. Милюков доказывал, что выборное офицерство невозможно, что его нет нигде в мире и что армия развалится.

Те трое говорили наоборот, что только та армия хороша, в которой офицеры пользуются доверием солдат. В сущности, они говорили совершенно то, что мы твердили последние полтора года, когда утверждали: то правительство крепко, которое пользуется доверием народа. Но все думали при этом, что гражданское управление — это одно, а военное — другое. Милюкову это было ясно, но Гиммер не понимал...

Не знаю почему, меня потянуло к Чхеидзе. Я подошел и, наклонившись над распростертой маленькой фигуркой, спросил шопотом:

— Неужели вы в самом деле думаете, что выборное офицерство — это хорошо?

Он поднял на меня совершенно усталые глаза, заворочал белками и шопотом же ответил, со своим кавказским акцентом, который придавал странную выразительность тому, что он сказал:

— И вообще все пропало... Чтобы спасти... чтобы спасти — надо чудо... Может быть, выборное офицерство будет чудо... Может, не будет... Надо пробовать... хуже не будет... Потому что я вам говорю: все пропало...

Я не успел достаточно оценить этот ответ одного из самых видных представителей «революционного народа», который на третий день революции пришел к выводу, что «все пропало», не успел потому, что их светлости Нахамкес и Гиммер милостиво изволили соизволить на написание воззвания, «чтобы не убивали офицеров»...

* * *

Пошли писать. В это время меня вызвали.

В соседней комнате было полным-полно всякого народа. Явственно чувствовалось, как измученная человеческая стихия в качестве последнего оплота бьется в убогие двери «Комитета Государственной Думы».

Кто-то из членов Думы, кажется Можайский [136], схватил меня за рукава:

— Вот, ради бога. Поговорите с этими офицерами. Они вас добиваются.

Взволнованная группка в форме.

— Мы из «Армии и Флота»...

— Что там такое?

— Там собрались офицеры... Несколько тысяч... Настроение такое — наше, словом, «за Государственную Думу»... Вот мы составили резолюцию... Хотим посоветоваться... Еще можно изменить...

Я прочел резолюцию. В общем все было более или менее возможно, принимая во внимание сумасшествие момента. Но были вещи, которые с моей точки зрения и сейчас нельзя было провозглашать. Было сказано, не помню точно что, но в том смысле, что необходимо добиваться Всероссийского Учредительного Собрания, избранного «всеобщим, тайным, равным» — словом, по четыреххвостке. Я кратко об'яснил, что говорить об Учредительном Собрании не нужно, что это еще вовсе не решено.

— А мы думали, что это уже кончено... Если нет, тем лучше, еще бы! чорт с ним...

Они обещали Учредительное Собрание вычеркнуть и провести это в собрании [137].

— Мы имеем большинство... Как скажем — так и будет...

* * *

Но они не смогли... Перепрыгнуло ли настроение, или что другое помешало, но, словом, когда я прочел эту резолюцию позже в печатном виде, в ней уже стояло требование Учредительного Собрания.

Это надо запомнить. 1-го марта вечером, т.-е. на третий день революции, самая «реакционная» и самая действенная часть офицерства в столице, ибо таковы были собравшиеся в зале «Армии и Флота», все же находилась под таким гипнозом или страхом, что должна была «требовать» Учредительного Собрания...

* * *

Гиммер, Соколов и Нахамкес написали воззвание. «Заседание» как бы возобновилось. Чхеидзе и Керенский в разных углах комнаты лежали в креслах... Милюков с теми тремя — у столика... Остальные более или менее — в беспорядке.

Началось чтение этого документа...

Он был длинный. Девять десятых его было посвящено тому, какие мерзавцы офицеры, какие они крепостники, реакционеры, приспешники старого режима, гасители свободы, прислужники реакции и помещиков. Однако, в трех последних строках было сказано, что все-таки их убивать не следует...

Все возмутились... В один голос все сказали, что эта прокламация не поведет к успокоению, а, наоборот, к сильнейшему разжиганию. Гиммер и Нахамкес ответили, что иначе они не могут. Кто-то из нас вспылил, но Милюков вцепился в них мертвой хваткой. Очевидно, он надеялся на свое, всем известное, упрямство, перед которым ни один кадет еще не устоял. Он взял бумажку в руки и стал пространно говорить о каждой фразе, почему она немыслима. Те так же пространно отвечали, почему они не могут ее изменить...

* * *

Чхеидзе лежал. Керенский иногда вскакивал и убегал куда-то, потом опять появлялся. К нему вечно рвались какие-то темные личности, явно оттуда — из Исполкома. Очевидно, он имел там серьезное влияние... Может быть, шла торговля из-за списка министров.

* * *

Я не помню, сколько часов все это продолжалось. Я совершенно извелся и перестал помогать Милюкову, что сначала пытался делать. Направо от меня лежал Керенский, прибежавший откуда-то, повидимому, в состоянии полного изнеможения. Остальные тоже уже совершенно выдохлись.

Один Милюков сидел упрямый и свежий. С карандашом в руках он продолжал грызть совершенно безнадежный документ. Против него эти трое сидели неумолимо, утверждая, что они должны квалифицировать социальное значение офицеров, иначе революционная армия их не поймет. Мне ясно запомнились они — около освещенного столика и остальная комната — в полутьме. Этот их турнир был символичен: кадет, уламывающий социалистов. Так, ведь, было несколько месяцев, пока мы, лежавшие, не взялись за ум, т.-е. за винтовку.

* * *

Мне показалось, что я слышу слабый запах эфира. В это время Керенский, лежавший пластом, вскочил, как на пружинах...

— Я желал бы поговорить с вами...

Это он сказал тем трем. Резко, тем безапелляционно-шекспировским тоном, который он усвоил в последние дни...

— Только наедине... Идите за мною...

Они пошли... На пороге он обернулся:

— Пусть никто не входит в эту комнату...

Никто и не собирался. У него был такой вид, точно он будет пытать их в «этой комнате».

* * *

Через четверть часа дверь «драматически» распахнулась. Керенский, бледный, с горящими глазами:

— Представители Исполнительного Комитета согласны на уступки...

Те тоже были бледны. Или так мне показалось. Керенский снова свалился в кресло, а трое снова стали добычей Милюкова.

На этот раз он быстро выработал удовлетворительный текст: трое, действительно, соглашались...

* * *

Бросились в типографию. Но было уже поздно: революционные наборщики прекратили уже работу. Было два или три часа ночи.

Гиммер, Нахамкес и Соколов ушли. Родзянко опять вызвали на улицу. Пришел какой-то полк, который хотел засвидетельствовать свою верность Государственной Думе. На дворе была вьюга, они шли верст сорок пешком. И в три часа ночи пришли поклониться Государственной Думе. Родзянко пошел с ними разговаривать, и скоро обычный рев донесся оттуда. Очевидно, «родина-матушка» подействовала еще раз,— кричали «ура»...

* * *

В это время приехал Гучков. Он был в очень мрачном состоянии.

— Настроение в полках ужасное... Я не убежден, не происходит ли сейчас убийств офицеров. Я об'езжал лично и видел... Надо на что-нибудь решиться... И надо скорее... Каждая минута промедления будет стоить крови... будет хуже, будет хуже...

Он уехал.

* * *

Вернувшись, Родзянко без конца читал нам бесконечные ленты с прямого провода. Это были телеграммы от Алексеева из Ставки и Рузского из Пскова. Алексеев находил необходимым отречение государя императора.

* * *

Эта мысль об отречении государя была у всех, но как-то об этом мало говорили. Вообще же было только несколько человек, которые в этом ужасном сумбуре думали об основных линиях. Все остальные, потрясенные ближайшим, занимались тем, чем занимаются на пожарах: качают воду, спасают погибающих и пожитки, суетятся и бегают.

Мысль об отречении созревала в умах и сердцах как-то сама по себе. Она росла из ненависти к монарху, не говоря о всех прочих чувствах, которыми день и ночь хлестала нам в лицо революционная толпа. На третий день революции вопрос о том, может ли царствовать дальше государь, которому безнаказанно брошены в лицо все оскорбления, был уже, очевидно, решен в глубине души каждого из нас.

Обрывчатые разговоры были то с тем, то с другим. Но я не помню, чтобы этот вопрос обсуждался Комитетом Государственной Думы, как таковым. Он был решен в последнюю минуту.

В эту ночь он вспыхивал несколько раз по поводу этих узеньких ленточек, которые сворачивал в руках Родзянко, читая. Ужасные ленточки! Эти ленточки были нитью, связывавшей нас с армией, с той армией, о которой мы столько заботились, для которой мы пошли на все... Весь смысл похода на правительство с 1915 года был один: чтобы армия сохранилась, чтобы армия дралась... И вот теперь по этим ленточкам надо было решить, как поступить... Что для нее сделать?..

* * *

Кажется, в четвертом часу ночи вторично приехал Гучков. Он был сильно расстроен. Только что рядом с ним в автомобиле убили князя Вяземского. Из каких-то казарм обстреляли «офицера».

* * *

И тут собственно это и решилось. Нас было в это время неполный состав. Были Родзянко, Милюков, я — остальных не помню... Но помню, что ни Керенского, ни Чхеидзе [138] не было. Мы были в своем кругу. И потому Гучков говорил совершенно свободно. Он сказал приблизительно следующее:

— Надо принять какое-нибудь решение. Положение ухудшается с каждой минутой. Вяземского убили только потому, что он офицер... То же самое происходит, конечно, и в других местах... А если не происходит этой ночью, то произойдет завтра... Идучи сюда, я видел много офицеров в разных комнатах Государственной Думы: они просто спрятались сюда... Они боятся за свою жизнь... Они умоляют спасти их... Надо на что-нибудь решиться... На что-то большое, что могло бы произвести впечатление... что дало бы исход... что могло бы вывести из ужасного положения с наименьшими потерями... В этом хаосе, во всем, что делается, надо прежде всего думать о том, чтобы спасти монархию... Без монархии Россия не может жить... Но, видимо, нынешнему государю царствовать больше нельзя... Высочайшее повеление от его лица — уже не повеление: его не исполнят... Если это так, то можем ли мы спокойно и безучастно дожидаться той минуты, когда весь этот революционный сброд начнет сам искать выхода... И сам расправится с монархией... Меж тем это неизбежно будет, если мы выпустим инициативу из наших рук.

Родзянко сказал:

— Я должен был сегодня утром ехать к государю... Но меня не пустили... Они об'явили мне, что не пустят поезда, и требовали, чтобы я ехал с Чхеидзе и батальоном солдат...

— Я это знаю, — сказал Гучков.—Поэтому действовать надо иначе... Надо действовать тайно и быстро, никого не спрашивая... ни с кем не советуясь... Если мы сделаем по соглашению с «ними», то это непременно будет наименее выгодно для нас... Надо поставить их перед свершившимся фактом... Надо дать России нового государя... Надо под этим новым знаменем собрать то, что можно собрать... для отпора... Для этого надо действовать быстро и решительно...

— То-есть — точнее? Что вы предполагаете сделать?

— Я предлагаю немедленно ехать к государю и привезти отречение в пользу наследника...

Родзянко сказал:

— Рузский телеграфировал мне, что он уже говорил об этом с государем... Алексеев запросил главнокомандующих фронтами о том же. Ответы ожидаются [139]...

— Я думаю, надо ехать, — сказал Гучков.—Если вы согласны и если вы меня уполномачиваете, я поеду... Но мне бы хотелось, чтобы поехал еще кто-нибудь...

Мы переглянулись. Произошла продолжительная пауза, после которой я сказал:

— Я поеду с вами...

* * *

Мы обменялись еще всего несколькими словами. Я постарался уточнить: Комитет Государственной Думы признает единственным выходом в данном положении отречение государя императора, поручает нам двоим доложить об этом его величеству и, в случае его согласия, поручает привести текст отречения в Петроград. Отречение должно произойти в пользу наследника цесаревича Алексея Николаевича. Мы должны ехать вдвоем, в полной тайне.

* * *

Я отлично понимал, почему я еду. Я чувствовал, что отречение случится неизбежно, и чувствовал, что невозможно поставить государя лицом к лицу с «Чхеидзе»... Отречение должно быть передано в руки монархистов и ради спасения монархии.

Кроме того, было еще другое соображение. Я знал, что офицеров будут убивать именно за то, что они монархисты, за то, что они захотят исполнить свой долг присяги царствующему императору до конца. Это, конечно, относится к лучшим офицерам. Худшие приспособятся. И вот для этих лучших надо было, чтобы сам государь освободил их от присяги, от обязанности повиноваться ему. Он только один мог спасти настоящих офицеров, которые нужны были как никогда. Я знал, что в случае отречения... революции как бы не будет. Государь отречется от престола по собственному желанию, власть перейдет к регенту, который назначит новое правительство. Государственная Дума, подчинившаяся указу о роспуске и подхватившая власть только потому, что старые министры разбежались, — передаст эту власть новому правительству. Юридически революции не будет.

Я не знал, удастся ли этот план при наличии Гиммеров, Нахамкесов и приказа № 1. Но, во всяком случае, он представлялся мне единственным. Для всякого иного нужна была реальная сила. Нужны были немедленно повинующиеся нам штыки, а таковых-то именно и не было...

* * *

В пятом часу ночи мы сели с Гучковым в автомобиль, который по мрачной Шпалерной, где нас останавливали какие-то посты и заставы, и по неузнаваемой чужой Сергиевской довез нас до квартиры Гучкова. Там А. И. набросал несколько слов. Этот текст был составлен слабо, а я совершенно был неспособен его улучшить, ибо все силы были на исходе.

Последние дни «Конституции».

(Продолжение.)

(2-ое марта 1917 года.)

Чуть серело, когда мы под'ехали к вокзалу. Очевидно, революционный народ, утомленный подвигами вчерашнего дня, еще спал. На вокзале было пусто.

Мы прошли к начальнику станции. Александр Иванович сказал ему:

— Я — Гучков... Нам совершенно необходимо по важнейшему государственному делу ехать в Псков... Прикажите подать нам поезд...

Начальник станции сказал: «слушаюсь», и через двадцать минут поезд был подан.

* * *

Это был паровоз и один вагон с салоном и со спальнями. В окна замелькал серый день. Мы, наконец, были одни, вырвавшись из этого ужасного человеческого круговорота, который держал нас в своем липком веществе в течение трех суток. И впервые значение того, что мы делаем, стало передо мной, если не во всей своей колоссальной огромности, которую в то время не мог охватить никакой человеческий ум, то, по крайней мере, в рамках доступности...

* * *

Тот роковой путь, который привел меня и таких, как я, к этому дню 2 марта, бежал в моих мыслях так же, как эта унылая лента железнодорожных пейзажей, там, за окнами вагона... День за днем наматывался этот клубок... В нем были этапы, как здесь — станции... Но были эти «станции» моего пути далеко не так безрадостны, как вот эти, мимо которых мы сейчас проносились...

* * *

В первый раз в своей жизни я видел государя в 1907 году, в мае месяце. Это было во время второй Государственной Думы.

Вторая Государственная Дума [140], как известно, была Думой «народного гнева» и невежества, — антинациональная, антимонархическая, словом — революционная. Она так живо вспоминалась мне теперь! Ведь все эти гнусные лица, которые залили Таврический дворец, — я их видел когда-то... не их именно, но такие же. Это именно было тогда, когда 1907 год выбросил на кресла Таврического дворца самых махровых представителей «демократической России».

Нас было сравнительно немного тогда, — членов Государственной Думы умеренных воззрений. Отбор был сделан в первый же день, «провокационным» с нашей стороны способом. Когда Голубев читал указ об открытии Думы, при словах «по указу его императорского величества» — все «порядочные» люди встали. Все «мерзавцы» остались сидеть. «Порядочных» оказалось, кажется, 101, и сто первым был П. Б. Струве.

Сто человек удостоились высочайшего приема, при чем мы были приняты небольшими группами в три раза.

Это был чудный весенний день, и все было так внове. И специальный поезд, поданный для членов Государственной Думы из Царского Села, и придворные экипажи, и лакеи, более важные, чем самые могущественные вельможи, и товарищи по Думе во фраках, разряженные, как на бал, и, вообще, вся эта атмосфера, которую испытывают, так сказать, монархисты по крови — да еще провинциальные, когда они приближаются к тому, кому после бога одному повинуются...

* * *

Это было в одном из небольших флигелей дворца. В небольшом зале мы стояли овальным полукругом. Поставили нас какие-то придворные чины, в том числе князь Путятин [141], который, помню, сказал мне: «Вы из Острожского уезда? Значит, мы земляки». Он хотел сказать этим, что они ведут свой род от князей Острожских [142].

Прием был назначен в два часа. Ровно в два, соблюдая французскую поговорку «l'exactitude c'est la politesse des rois» — кто-то вошел в зал, сказав:

— Государь император...

Полуовальный кружок затих, и в зал вошел офицер средних лет, в котором нельзя было не узнать государя (в форме стрелков — малиновая шелковая рубашка у ворота), и дама высокого роста — вся в белом, в большой белой шляпе, которая держала за руку прелестного мальчика, совершенно такого, каким мы знали его по последним портретам, — в белой рубашенке и большой белой папахе.

Государыню узнать было труднее. Она непохожа была на свои портреты.

Государь начал обход. Не помню, кто там был в начале... Рядом со мной стоял профессор Г. Е. Рейн [143], а потом — Пуришкевич. Я следил за государем, как он переходил от одного к другому, но говорил он тихо, и ответы были такие же тихие, — я их не слышал. Но я ясно слышал разговор с Пуришкевичем. Нервно дергаясь, как было ему свойственно, Пуришкевич — я видел — накалялся.

Государь подвинулся к нему, так как он имел, видимо, привычку это делать, так сказать, скользя вбок по паркету. Кто-то назвал Владимира Митрофановича. Впрочем, государь его, наверное, знал в лицо, ибо обладал, как говорили, удивительной памятью на лица.

Нас всех живейшим образом интересовало, — скоро ли распустят Государственную Думу, ибо Думу «народного гнева и невежества» мы ненавидели так же страстно, как она ненавидела правительство. Этим настроением Пуришкевич был проникнут более, чем кто-либо другой, и поэтому, когда государь приблизился к нему и спросил его что-то, — он не выдержал:

— Ваше величество, мы все ждем — не дождемся, когда окончится это позорище! Это собрание изменников и предателей... которые революционизируют страну... Это гнездо разбойников, засевшее в Таврическом дворце. Мы страстно ожидаем приказа вашего императорского величества о роспуске Государственной Думы...

Пуришкевич весь задергался, делая величайшие усилия, чтобы не пустить в ход жестикуляцию рук, что ему удалось, но браслетка, которую он всегда носил на руке, все же зазвенела.

На лице государя появилась как бы четверть улыбки. Последовала маленькая пауза, после которой государь ответил весьма отчетливо, не громким, но уверенным, низким голосом, которого трудно было ожидать от общей его внешности:

— Благодарю вас за вашу всегдашнюю преданность престолу и родине. Но этот вопрос предоставьте мне...

Государь перешел к следующему — профессору Г. Е. Рейну, и говорил с ним некоторое время. Георгий Ермолаевич отвечал браво, весело и как-то приятно. После этого государь подошел ко мне.

Наследник в это время стал рассматривать фуражку Г. Е. Рейна, которую он держал в опущенной руке, как раз на высоте глаз ребенка. Он, видимо, сравнивал ее со своей белой папахой. Рейн наклонился, что-то объясняя ему. Государыня просветлела и улыбнулась, как улыбаются матери.

Государь обратился ко мне.

Я в первый раз в жизни увидел его взгляд. Взгляд был хороший и спокойный. Но большая нервность чувствовалась в его манере подергивать плечом, очевидно, ему свойственной. И было в нем что-то женственное и застенчивое.

Кто-то, кто нас представлял, — назвал меня, сказав, что я от Волынской губ. Государь подал мне руку и спросил:

— Кажется, вы от Волынской губернии, — все правые?

— Так точно, ваше императорское величество.

— Как это вам удалось?

При этих словах он почти весело улыбнулся. Я ответил:

— Нас, ваше величество, спаяли национальные чувства. У нас русское землевладение, и духовенство, и крестьянство шли вместе, как русские. На окраинах, ваше величество, национальные чувства сильнее, чем в центре...

Государю эта мысль, видимо, понравилась. И он ответил тоном, как будто бы мы запросто разговаривали, что меня поразило:

— Но ведь оно и понятно. Ведь у вас много национальностей... кипят. Тут и поляки, и евреи. Оттого русские национальные чувства на Западе России — сильнее... Будем надеяться, что они передадутся и на Восток...

Как известно, впоследствии эти же слова высказал в своей знаменитой телеграмме Киеву (киевскому клубу русских националистов) и П. А. Столыпин *.

Государь спросил еще что-то, личное, и, очень милостиво простившись со мною, пошел дальше. Государыня сказала мне несколько слов.

Меня поразила сцена с одним из наших священников. Он при приближении государя стал на колени и страшно растроганным басом говорил какие-то нескладные слова.

Государь, видимо сконфуженный, поднял его и, приняв от него благословение, поцеловал ему руку.

Был среди представлявшихся членов Думы — Лукашевич [144], от Полтавской губернии, очень немолодой, очень симпатичный, но хитрый, как настоящий хохол. Нам всем, как я уже говорил, очень хотелось узнать, когда распустят Государственную Думу. Но пример Пуришкевича показал, что государь не разрешает об этом говорить. Лукашевич же сумел так повернуть дело, что мы все поняли.

---

* «Твердо верю, что загоревшийся на Западе России свет русской национальной идеи не погаснет и скоро озарит всю Россию»...

Государь спросил Лукашевича, где он служил. Он ответил:

— Во флоте вашего императорского величества. Потом вышел в отставку и долго был председателем земской управы. А теперь вот выбрали в Государственную Думу. И очень мне неудобно, потому что сижу в Петербурге и дела земские запускаю. Если это долго продолжится, я должен подать в отставку из земства. Так вот и не знаю...

И он остановился, смотря государю прямо в глаза с самым невинным видом...

Государь улыбнулся и перешел к следующему, но, повидимому, ему понравилась эта своеобразная хитрость. Он еще раз повернулся к Лукашевичу и, улыбаясь, сказал ему:

— Погодите подавать в отставку...

В эту минуту мы все поняли, что дни Государственной Думы сочтены. И обрадовались этому до чрезвычайности. Ни у кого из нас не было сомнений, что Думу «народного гнева и невежества» надо гнать беспощадно.

Обойдя всех, государь вышел на середину полукруга и сказал короткую речь.

Я не помню ее всю, но ясно помню ее конец:

— Благодарю вас за то, что вы мужественно отстаиваете те устои, при которых Россия росла и крепла...

Государь говорил негромко, но очень явственно и четко. Голос у него был низкий, довольно густой, а выговор чуть-чуть с налетом иностранных языков. Он мало выговаривал «ѣ», почему последнее слово звучало не как «крѣпла», а почти как «крепла».

Этот гвардейский акцент — единственное, что показалось мне, провинциалу, чужим. А остальное было близкое, но не величественное, а наоборот, симпатичное своей застенчивостью.

Странно, что и государыня производила то же впечатление застенчивости. В ней чувствовалось, что за долгие годы она все же не привыкла к этим «приемам». И неуверенность ее была большая, чем робость ее собеседников.

Но кто был совершенно в себе уверен и в ком одном было больше «величественности», чем в его обоих царственных родителях, — это был маленький мальчик — цесаревич. В белой рубашечке, с белой папахой в руках, ребенок был необычайно красив.

После речи государя — мы усердно кричали «ура». Он простился с нами общим поклоном — «одной головой» — и вышел из маленького зала, который в этот день был весь пронизан светом.

Хороший был день! Веселый, теплый. Все вышли радостные...

Несмотря на застенчивость государя, мы все почувствовали, что он в хорошем настроении. Уверен в себе, значит и в судьбе России.

Под мягкий рокот колес придворных экипажей по удивительным аллеям Царского Села, мы, радостно-возбужденные, говорили о том, что безобразному кабаку, именовавшемуся II Государственной Думой, скоро конец. И действительно, недели через две, а именно 2 июня, она была распущена, и «гнев народа» не выразился абсолютно ни в чем. В этот день один из полков несколько раз под музыку прошел по Невскому в полном порядке, и 3-е [145] июня совершало свое победоносное вступление над Россией.

Я целый день ходил по городу, чтобы определить, как я сказал своим друзьям, — есть ли у нас самодержавие?

И вечером, обедая у Донона, чокнулся с Крупенским [146], сказав ему:

— Дорогой друг — самодержавие есть...

* * *

С тех пор прошло года полтора. Это было в начале 1909 года. 3-я Государственная Дума приступала под дуумвиратом Столыпин-Гучков к своим большим задачам.

Оппозиция, по крайней своей ограниченности, не понимая, какое большое дело происходит перед ее глазами, всячески мешала реформационным работам. Одной из очередных пакостей было ни к селу, ни к городу внесенный законопроект «об отмене смертной казни» [147]. Моя фракция («правых») поручила мне говорить «против».

Но, когда на следующее утро это дело стало разбираться, возник обычный вопрос о «желательности» передачи этого законопроекта в комиссию.

По тогдашнему наказу, против желательности передачи в комиссию мог говорить только один оратор. Случилось так, что двое подали записки одновременно. Это был Гегечкори [148] и я. Гегечкори — потому, что он хотел «отменить» смертную казнь немедленно, без комиссий, а я — потому, что я хотел точно так же без комиссии ее «утвердить».

Пришлось тянуть жребий. Я его вытащил. Помню, как Крупенский с места своим характерным басом воскликнул:

— Есть бог!

Я сказал свою речь...

* * *

А на следующий день (это было случайно) мы должны были представляться государю — все члены от Волынской губернии, по следующему поводу:

Из Волынской губернии приехала депутация, во главе с архиепископом Антонием [149] и знаменитым архимандритом Виталием [150], монахом Почаевской лавры. Остальные члены депутации были крестьяне, по одному от каждого из двенадцати уездов Волынской губернии.

Архимандрит Виталий, вопреки всему тому, что о нем писали некоторые газеты, был человек, достойный всяческого уважения. Это был «народник» в истинном значении этого слова. Аскет-бессеребренник, неутомимый работник, он день и ночь проводил с простым народом, с волынскими землеробами, и, действительно, любил его, народ, таким, каков он есть... И пользовался он истинной «взаимностью». Волынские мужики слушали его беспрекословно, — верили ему... Верили, во-первых, что он — «за них», а во-вторых, что он учит хорошему-божескому.

И, действительно, архимандриту Виталию удалось сделать большое дело... Быть может, ему единственному удалось тогда перебросить мост между высшим, культурным классом, то-есть «помещиками» и черным народом, «хлеборобами»... В его лице духовенство стало между землевладельцами и крестьянами. Оно подало правую руку одним, левую — другим и повело за собой обоих, об'единяя их, как «русских и православных»...

При этом архимандрит Виталий умел держаться на границе демагогии. Он утверждал, что крестьяне получат землю, но не грабежом, не революцией, не всякими безобразиями, а только волей государя и «по справедливости», т.-е., чтобы «никого не обижать».

Точно так же умел он направить волынских крестьян и в еврейском вопросе. Он призывал к борьбе с еврейством и не мог не призывать, так как революцию 1905 года вело еврейство «объединенным фронтом» — без различия классов и партий. Но, помня и свой пастырский долг, и все остальное, что надо помнить, архимандрит Виталий призывал к противодействию еврейству путем экономической борьбы, а также национальной организованности. Характерен для него был лозунг, который оглушительно повторяли толпы народа, шедшие за ним... Этот лозунг был не «бей жидов», а —

— «Русь идет!»

Ни одного еврейского погрома, несмотря на все его горячие речи, призывавшие к борьбе с революцией, на совести у архимандрита Виталия не было, как не было и ни одной помещичьей «иллюминации», как вообще не было ни одного насилия.

Разумеется, его не поняли, разумеется, его оклеветали, но кого не изругивали в те дни! Разве эти безумные люди понимали хоть что-нибудь? Разве они не смешали с грязью Столыпина?

* * *

Свою работу архимандрит Виталий вел посредством образования почти в каждом селе, так называемого, «союза русского народа» [151]. Говорят, что в других местах этот союз был не то подставным, не то хулиганским. Но на Волыни дело было иначе. Села совершенно добровольно делали «приговоры» о том, что хотят образовать «союз» и образовывали: такой союз был и в нашей деревне, и я был его почетным председателем.

Между прочим, в последнее время архимандрит Виталий занялся следующей мыслью:

Он, как и другие правые, был озабочен тем, чтобы «историческая русская власть», иначе «самодержавие», не получила ущерба. Ne quid detrimentum capiat...

...Всем нам было страшно, как бы не пошатнулась эта власть. Мы считали, что Государственная Дума — Государственной Думой, но всецело принимали лозунг Столыпина: «Никто не может отнять у русского государя право и обязанность спасать богом врученную ему державу».

С этой целью архимандрит Виталий составил верноподданнический адрес, в котором было выражено желание, чтобы царь был самодержцем, как и раньше было.

Под этим адресом стали собирать подписи по всей Волыни, и когда собрали 1.000.000 подписей (все население Волыни — 3½ миллиона, считая женщин и детей), решили поднести его государю-императору.

* * *

Дворец. Один из небольших зал. Мы собрались за четверть часа до назначенного времени. Оглядев нас, я подумал, что эта группа и красива, и знаменательна.

Посередине, в великолепной, лилово-белой шелковой мантии—архиепископ Антоний, опираясь на посох. Рядом с ним, в черной рясе (его уговорили надеть шелковую на этот день) аскет-монах, страшно худой, с выразительными глазами — архимандрит Виталий... Налево от владыки — член Думы, князь В. В. Волконский, в мундире предводителя дворянства. За ним фраки, сияющие белой грудью, — члены Думы — русские помещики — культурный класс. Направо от владыки около двадцати «свиток». Настоящие волынские свитки, темно-ко-

ричневые и светло-серые, обшитые красной тесьмой. Они пришли сюда, во дворец, точно такими же, какими ходят в свою церковь в воскресенье... Лица были торжественные, серьезные, но не рабские... Нет, не рабские!

Мне казалось тогда, что это день глубокого мистического значения.

Государь в этот день увидел лоскуток своей державы, в ее идеальном представлении; такой, какой она должна была быть; такой, какой она, увы! за исключением этого клочка — Волыни — не была...

Почти повсюду (натравленные друг против друга «работой» города над «вопросом о земле») — дворянство и крестьянство, помещики и землеробы — были враждующими лагерями... Железом Столыпина едва удалось образумить низы... да и верхи...

Здесь же церковь, протянув одну руку помещикам и дворянам, золотошитым и «фрачным», а другую огромному, черному землеробному крестьянству, этим коричневым и серым свиткам, — подвела их к престолу царя, как братьев...

Господи, да ведь и правда же мы — братья!.. Разве неясно, что не жить нам одним без других, что, если натравят на нас, панов, эти «свитки», — мы погибнем в их руках, но и они, «свитки», погубивши нас, скоро погибнут сами, ибо наше место займут новые «паны», — такие «паны из города», от которых стон и смерть пойдут по всей черной, хлебородной, земляной земле...

Церковь это знает, знает, может быть, не индивидуальным разумом этих вот ее слуг, а знает потому, что голос веков звучит под ее сводами. Церковь это знает, и знает, где искать примирение, где найти утишающее слово...

Здесь... У престола...

Церковь взяла нас и привела сюда, чтобы мы сказали вместе с нею:

— Помазанник божий! Верим тебе. Суди нас, мири нас. Хотим быть братьями... потому что мы одной крови, одной веры, одной земли...

* * *

Разве не это хотят сказать эти огромные книги, что торжественно лежат вокруг иконы божьей матери, Почаевской, которую владыка Антоний подносит царю?

Эти книги в грубых кожаных переплетах, числом двенадцать, — это адрес государю... Каждая книга от каждого уезда Волыни... Адрес — за «самодержавие», т.-е., чтобы царь был самодержавен... Подносят его волынцы, об'единившиеся

в «союз русского народа». Поэтому же на свитках и фраках маленькие серебряные кружки — значек союза русского народа.

* * *

Беру одну из этих тяжелых книг в руки... Мелькают знакомые деревни, мелькают знакомые имена... «Бизюки, Сопрунцы, Ткачуки, Климуси, Романчуки»... Вместо неграмотных стоят кресты...

Все это подлинное... Подписи настоящие... Сколько их? Миллион...

* * *

Миллион! Миллион подписей при населении в три с половиной миллиона, считая женщин и детей.

Миллион волынцев сказали в этот день царю, что они не «украинцы», а русские, ибо зачислились в «союз русского народа»... Миллион сказали, что верят в бога, потому что пришли сюда по зову царя... Миллион сказали, что любят родину... Миллион сказали, что они не грабители и не социалисты, потому что хотят земельный вопрос решить не силой, а по царской воле... Миллион сказали, что на земле превыше всего верят царю и просят его по-старому править Русскою Землею...

«...Царствуй на славу нам...
Царствуй на страх врагам...»

* * *

Время приближалось...

Нас поставили в порядок. Все замолкло. Стало очень тихо. На часах ударило два... В это же мгновение отворилась дверь, арап, сверкнув белой чалмой над черным лицом, колыхнул широкими шароварами... Он сказал негромко, но картаво:

— Государь-император...

* * *

Государь вышел один... Все поклонились...

Государь принял благословение от владыки...

Владыка начал свою речь.

Архиепископ Антоний говорил, как всегда, умно и красиво. Опираясь на посох, он сказал все, что было можно и нужно.. Больше говорить было нечего... Так и было условлено... Было решено, что никто не будет говорить ни из «панов», ни из «хрестьян».

Но тут произошло неожиданное...

* * *

На самом правом крыле стоял невзрачный мужичок, желтоватой масти, полещук из одного болотного уезда. Из тех, что люди, ненавидящие мужиков, называют иногда «гадюка»... Но он не был гадюка... Его фамилия была Бугай... «Бугай» называют у нас птицу «выпь»... За то, что она вопит конечно... Засядет в болото и вопит...

Неожиданно Бугай оправдал свою фамилию и «завопил»:

— Ваше императорское величество!..

Государь повернул к нему голову... Архимандрит Виталий хотел остановить, «цыкнуть» на неожиданного, но удержался, заметив, что государь приготовился слушать.

И полещук развернулся...

* * *

Я всегда удивлялся красноречию простого народа. В то время как средний интеллигент ищет, подбирает слова, говорит с трудом, с напряжением, — простой человек, если начнет говорить, то «зальется»...

Серенада полесской выпи продолжалась минут десять. Он говорил тем языком, который так блестяще опровергает все украинские теории .. Он говорил малорусской речью,— но такой, что его нельзя было не понять даже человеку, который никогда в Хохландии не был.

Что он говорил?

Он, не останавливаясь, бранил Государственную Думу... За что, про что—понять нельзя было совсем, или можно было слишком понять. Вот так, как птица «бугай»... Заберется в камыш и кричит...

Он кричал о том, что наш народ волынский не хочет, чтобы Дума была «старшей», а чтобы царь был старший... И как царь с землей решит, пусть так и будет... А Дума «пусть себе не думает», потому мы только царю верим, а на Думу сдаваться не желаем... И еще, и еще...

Государь выслушал его до конца. Но когда он кончил, после этих его криков наступила напряженная тишина... Мы понимали, что речь Бугая была неожиданной, и потому — почти скандал, нам было очень неловко и неприятно, и больно сжалось сознание, как государь выйдет из этого положения...

* * *

Выход был тоже очень неожиданный.

Государь сделал несколько раз подергивание плечом, которое было ему свойственно... Потом кивнул Бугаю, полуулыб-

нувшись... Но не сказал ему ни слова... Наоборот, он повернулся к нам, членам Думы, и прошел глазами по нас... И вдруг спросил немного как бы застенчиво...

— Кто из вас — Шульгин?

Больше всего это, конечно, поразило меня... До такой степени, что, не очень отдавая себе отчет в том, что я делаю, я сделал большой шаг вперед, «по-солдатски»:

— Я, ваше императорское величество...

Государь посмотрел на меня и сказал, довольно застенчиво, улыбаясь, но так, чтобы все слышали:

— Мы только что... за завтраком... прочли с императрицей вашу вчерашнюю речь в Государственной Думе... Благодарю вас. Вы говорили так, как должен говорить человек истинно-русский...

Я пробормотал несколько довольно бессвязных слов... И отступил на свое место...

Потом?.. Потом государь сказал несколько слов с другими и всем... Затем? Затем все было как всегда... При криках «ура» государь удалился...

* * *

Потом произошла довольно смешная сцена.

Матрос Деревенько[152], который был дядькой у наследника цесаревича и который услышал, что волынские крестьяне представляются, захотел повидать своих...

И вот он тоже — «вышел»...

Красивый, совсем как первый любовник из малорусской труппы (воронова крыла волосы, а лицо белое, как будто он употреблял Crême Simon), — он, скользя по паркету, вышел, протянув руки — «милостиво»:

— Здравствуйте, земляки!... Ну, как же вы там?..

Очень было смешно...

* * *

Нам был предложен завтрак. Меня поздравляли с «царской благодарностью»... и было очень радостно...

Уезжая, мы по обычаю разобрали «на память» цветы, которыми украшен был стол...

* * *

Эти цветы, «царские цветы», сохраненные заботливой рукой, и сейчас на моем письменном столе под стеклом царского портрета там, в Петрограде...

А я мчусь в Псков?.. Как? Отчего?

* * *

Трон был спасен в 1905 году, потому что часть народа еще понимала своего монарха... Во время той войны, также неудачной, эти, понимавшие, столпились вокруг престола и спасли Россию...

Спасли те «поручики», которые командовали «по наступающей толпе — пальба», спасли те, кто зажглись взрывом оскорбленного патриотизма, — взрывом, который вылился в «еврейский погром», спасли те «прапорщики», которые этот погром остановили, спасли те правители и вельможи, которые дали лозунг «не запугаете», спасли те политические деятели, которые, испросив благословение церкви, — громили словом лицемеров и безумцев...

А теперь?

Теперь не нашлось никого...

Никого... потому что мы перестали понимать своего государя...

И вот...

И вот... Псков...

* * *

И еще раз...

Это было 26 июля 1914 года... В тот день, когда на один день была созвана Государственная Дума после об'явления войны.

В Петербург с разных концов России пробивались сквозь мобилизационную страду поезда с членами Государственной Думы... Поезду, который пробивался из Киева, было особенно трудно, почему он опоздал... С вокзала я колотил извозчика в спину, чтобы попасть в Зимний дворец... Я об'яснял ему, что «сам государь меня ждет»... Извозчик колотил свою шведку, но все же я вбежал в зал, когда уже началось... Государь уже вышел...

И вот тут было совсем по-иному, чем всегда, во время больших выходов. Величие и трудность минуты сломили лед векового каркаса. Была толпа людей, мятущаяся чувством, восторженная, прорвавшая ритуал... Эта восторженная гроздь законодателей окружала одного человека, и этот человек был наш государь...

Я не мог протолкаться к нему, да этого и не нужно было... Ведь я и такие, как я, всегда были с ним душой и сердцем, но бесконечно радостно было для нас, что эти другие люди, вчера еще равнодушные, нет, мало сказать равнодушные,— враждебные, что они, подхваченные неодолимым стремлением сплотиться воедино, в эту страшную минуту бросились к вековому фокусу России — к престолу... Эти другие люди были —

кадеты, т.-е. властители умов и сердец русской интеллигенции... О, как охотно мы уступили бы им наши места на ступенях трона, если бы это означало единство России!..

В мой потрясенный мозг стучались три слова, вылившиеся в статье под заглавием:

— Веди нас, государь!..

* * *

А вот теперь — Псков... Вот куда «привел» нас государь... Он ли — нас, или мы его, кто это рассудит? На земле — история, на небе — бог...

* * *

Станции проносились мимо нас... Иногда мы останавливались... Помню, что А. И. Гучков иногда говорил краткие речи с площадки вагона... это потому, что иначе нельзя было... На перронах стояла толпа, которая все знала... То-есть она знала, что мы едем к царю... И с ней надо было говорить...

* * *

Не помню, на какой станции нас соединили прямым проводом с генерал-ад'ютантом Николаем Иудовичем Ивановым [153]. Он был, кажется, в Гатчине. Он сообщил нам, что по приказанию государя накануне, или еще 28 числа, выехал по направлению к Петрограду... Ему было приказано усмирить бунт... Для этого, не входя в Петроград, он должен был подождать две дивизии, которые были сняты с фронта и направлялись в его распоряжение... В качестве, так сказать, верного кулака ему было дано два батальона георгиевцев, составлявших личную охрану государя. С ними он шел до Гатчины... И ждал... В это время кто-то успел разобрать рельсы, так что он, в сущности, отрезан от Петрограда... Он ничего не может сделать, потому что явились «агитаторы», и георгиевцы уже разложились... На них нельзя положиться... Они больше не повинуются... Старик стремился повидаться с нами, чтобы решить, что делать...

Но надо было спешить... Мы ограничились этим телеграфным разговором...

* * *

Все же мы ехали очень долго... Мы мало говорили с А. И. Усталость брала свое... Мы ехали, как обреченные... Как все самые большие вещи в жизни человека, и это совершалось не при полном блеске сознания... Так надо было... Мы бросились на этот путь, потому что всюду была глухая стена...

Здесь, казалось, просвет... Здесь было «может быть»... А всюду кругом было — «оставь надежду»...

* * *

Разве переходы монаршей власти из рук одного монарха к другому не спасали Россию?

Сколько раз это было...

* * *

В 10 час. вечера мы приехали. Поезд стал. Вышли на площадку. Голубоватые фонари освещали рельсы. Через несколько путей стоял освещенный поезд... Мы поняли, что это императорский...

Сейчас же кто-то подошел...

— Государь ждет вас...

И повел нас через рельсы. Значит, сейчас все это произойдет. И нельзя отвратить?

Нет, нельзя... Так надо... Нет выхода... Мы пошли, как идут люди на все самое страшное,—не совсем понимая... Иначе не пошли бы...

Но меня мучила еще одна мысль, совсем глупая...

Мне было неприятно, что я являюсь к государю небритый, в смятом воротничке, в пиджаке...

* * *

С нас сняли верхнее платье. Мы вошли в вагон.

Это был большой вагон-гостиная. Зеленый шелк по стенкам... Несколько столов... Старый, худой, высокий, желтовато-седой генерал с аксельбантами...

Это был барон Фредерикс[154]...

— Государь-император сейчас выйдет... Его величество в другом вагоне...

Стало еще безотраднее и тяжелее...

В дверях появился государь... Он был в серой черкесске... Я не ожидал его увидеть таким...

Лицо?

Оно было спокойно..

Мы поклонились. Государь поздоровался с нами, подав руку. Движение это было скорее дружелюбно...

— А Николай Владимирович?

Кто-то сказал, что генерал Рузский просил доложить, что он немного опоздает.

— Так мы начнем без него.

Жестом государь пригласил нас сесть... Государь занял место по одну сторону маленького четырехугольного столика,

придвинутого к зеленой шелковой стене. По другую сторону столика сел Гучков. Я—рядом с Гучковым, наискось от государя. Против царя был барон Фредерикс...

Говорил Гучков. И очень волновался. Он говорил, очевидно, хорошо продуманные слова, но с трудом справлялся с волнением. Он говорил негладко... и глухо.

Государь сидел, опершись слегка о шелковую стену, и смотрел перед собой. Лицо его было совершенно спокойно и непроницаемо.

Я не спускал с него глаз. Он изменился сильно с тех пор... Похудел... но не в этом было дело... А дело было в том, что вокруг голубых глаз кожа была коричневая и вся разрисованная белыми черточками морщин. И в это мгновенье я почувствовал, что эта коричневая кожа с морщинками, что это маска, что это не настоящее лицо государя, и что настоящее, может быть, редко кто видел, может быть иные никогда, ни разу не видели... А я видел тогда, в тот первый день, когда я видел его в первый раз, когда он сказал мне:

— Оно и понятно... Национальные чувства на Западе России сильнее... Будем надеяться, что они передадутся и на Восток..

Да, они передались. Западная Россия заразила восточную национальными чувствами. Но Восток заразил Запад .. властиборством.

И вот результат... Гучков — депутат Москвы, и я, представитель Киева — мы здесь... Спасаем монархию через отречение... А Петроград?

Гучков говорил о том, что происходит в Петрограде. Он немного овладел собой... Он говорил (у него была эта привычка), слегка прикрывая лоб рукой, как бы для того, чтобы сосредоточиться. Он не смотрел на государя, а говорил, как бы обращаясь к какому-то внутреннему лицу, в нем же, Гучкове, сидящему. Как будто бы совести своей говорил.

Он говорил правду, ничего не преувеличивая и ничего не утаивая. Он говорил то, что мы все видели в Петрограде. Другого он не мог сказать. Что делалось в России, мы не знали. Нас раздавил Петроград, а не Россия...[155].

Государь смотрел прямо перед собой, спокойно, совершенно непроницаемо. Единственное, что, мне казалось, можно было угадать в его лице:

— Эта длинная речь — лишняя...

В это время вошел генерал Рузский. Он поклонился государю и, не прерывая речи Гучкова, занял место между бароном Фредериксом и мною... В эту же минуту, кажется, я заметил,

что в углу комнаты сидит еще один генерал, волосами черный с белыми погонами... Это был генерал Данилов[156].

Гучков снова заволновался. Он подошел к тому, что, может быть, единственным выходом из положения было бы отречение от престола.

Генерал Рузский наклонился ко мне и стал шептать:

— По шоссе из Петрограда движутся сюда вооруженные грузовики... Неужели-же ваши? Из Государственной Думы?

Меня это предположение оскорбило. Я ответил шопотом, но резко:

— Как это вам могло прийти в голову?

Он понял.

— Ну, слава богу, — простите... Я приказал их задержать.

Гучков продолжал говорить об отречении...

Генерал Рузский прошептал мне:

— Это дело решенное... Вчера был трудный день... Буря была...

— ... И, помолясь богу... — говорил Гучков...

При этих словах по лицу государя впервые пробежало что-то... Он повернул голову и посмотрел на Гучкова с таким видом, который как бы выражал:

— Этого можно было бы и не говорить.

* * *

Гучков окончил. Государь ответил. После взволнованных слов А. И., голос его звучал спокойно, просто и точно. Только акцент был немножко чужой, — гвардейский:

— Я принял решение отречься от престола... До трех часов сегодняшнего дня я думал, что могу отречься в пользу сына, Алексея... Но к этому времени я переменил решение в пользу брата Михаила... Надеюсь, вы поймете чувства отца...

Последнюю фразу он сказал тише...[157].

* * *

К этому мы не были готовы. Кажется, А. И. пробовал представить некоторые возражения... Кажется, я просил четверть часа — посоветоваться с Гучковым... Но это почему-то не вышло... И мы согласились, если это можно назвать согласием, тут же. Но за это время столько мыслей пронеслось, обгоняя одна другую..

Во-первых, как мы могли «не согласиться»?.. Мы приехали сказать царю мнение Комитета Государственной Думы... Это мнение совпало с решением его собственным... а если бы не совпало? Что мы могли бы сделать? Мы уехали бы обратно,

если бы нас отпустили... Ибо мы ведь не вступили на путь «тайного насилия», которое практиковалось в XVIII веке и в начале XIX-го...

Решение царя совпало в главном... Но разошлось в частностях... Алексей или Михаил перед основным фактом — отречением—все же была частность... Допустим, на эту частность мы бы «не согласились»... Каков результат? Прибавился бы только один лишний повод к неудовольствию. Государь передал престол «вопреки желанию Государственной Думы»... И положение нового государя было бы подорвано.

Кроме того, каждый миг был дорог. И не только потому, что по шоссе движутся вооруженные грузовики, которых мы достаточно насмотрелись в Петрограде, и знали, что это такое, и которые генерал Рузский приказал остановить (но остановят-ли?), но еще и вот почему: с каждой минутой революционный сброд в Петрограде становится наглее, и, следовательно, требования его будут расти. Может быть, сейчас еще можно спасти монархию, но надо думать и о том, чтобы спасти хотя бы жизнь членам династии.

Если придется отрекаться и следующему,—то ведь Михаил может отречься от престола...

Но малолетний наследник не может отречься — его отречение недействительно.

И тогда что они сделают, эти вооруженные грузовики, движущиеся по всем дорогам?

Наверное, и в Царское Село летят — проклятые...

И сделались у меня:

«Мальчики кровавые в глазах»...

* * *

А кроме того...

Если что может еще утишить волны, — это если новый государь воцарится, присягнув конституции...

Михаил может присягнуть.

Малолетний Алексей — нет...

* * *

А кроме того...

Если здесь есть юридическая неправильность... Если государь не может отрекаться в пользу брата... Пусть будет неправильность!.. Может быть, этим выиграется время... Некоторое время будет править Михаил, а потом, когда все угомонится, выяснится, что он не может царствовать, и престол перейдет к Алексею Николаевичу...

* * *

Все это, перебивая одно другое, пронеслось, как бывает в такие минуты... Как будто не я думал, а кто-то другой за меня, более быстро соображающий...

* * *

И мы «согласились»...

* * *

Государь встал... Все поднялись...

Гучков передал государю «набросок». Государь взял его и вышел.

* * *

Когда государь вышел, генерал, который сидел в углу и который оказался Юрием Даниловым, подошел к Гучкову. Они были раньше знакомы.

— Не вызовет ли отречение в пользу Михаила Александровича впоследствии крупных осложнений в виду того, что такой порядок не предусмотрен законом о престолонаследии?

Гучков, занятый разговором с бароном Фредериксом, познакомил генерала Данилова со мною, и я ответил на этот вопрос. И тут мне пришло в голову еще одно соображение, говорящее за отречение в пользу Михаила Александровича.

— Отречение в пользу Михаила Александровича не соответствует закону о престолонаследии. Но нельзя не видеть, что этот выход имеет при данных обстоятельствах серьезные удобства. Ибо, если на престол взойдет малолетний Алексей, то придется решать очень трудный вопрос, останутся ли родители при нем, или им придется разлучиться. В первом случае, т.-е. если родители останутся в России, отречение будет в глазах тех, кого оно интересует, как бы фиктивным. В особенности это касается императрицы... Будут говорить, что она так же правит при сыне, как при муже... При том отношении, какое сейчас к ней, — это привело бы к самым невозможным затруднениям. Если же разлучить малолетнего государя с родителями, то, не говоря о трудности этого дела, это может очень вредно отразиться на нем. На троне будет подрастать юноша, ненавидящий все окружающее, как тюремщиков, отнявших у него отца и мать... При болезненности ребенка это будет чувствоваться особенно остро...

* * *

Барон Фредерикс был очень огорчен, узнав, что его дом в Петрограде горит. Он беспокоился о баронессе, но мы сказали, что баронесса в безопасности...

* * *

Через некоторое время государь вошел снова. Он протянул Гучкову бумагу, сказав:

— Вот текст...

Это были две или три четвертушки — такие, какие, очевидно, употреблялись в Ставке для телеграфных бланков. Но текст был написан на пишущей машинке.

Я стал пробегать его глазами, и волнение, и боль и еще что-то сжало сердце, которое, казалось, за эти дни уже лишилось способности что-нибудь чувствовать... Текст был написан теми удивительными словами, которые теперь все знают...

* * *

«В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу родину, господу богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого нашего отечества требуют доведения войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы, и в согласии с Государственной Думой признали мы за благо отречься от престола государства Российского и сложить с себя верховную власть. Не желая расстаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие наше брату нашему великому князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление на престол государства Российского. Заповедуем брату нашему править делами государственными в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях, на тех началах, кои будут ими установлены. Во имя горячо любимой родины призываем всех верных сынов отечества к исполнению своего святого долга перед ним, повиновением царю в тяжелую минуту всенародных испытаний помочь ему, вместе с представителями народа, вывести государство Российское на путь победы, благоденствия и славы. Да поможет господь бог России.

Николай».

* * *

Каким жалким показался мне набросок, который мы привезли. Государь принес и его и положил на стол.

* * *

К тексту отречения нечего было прибавить... Во всем этом ужасе на мгновенье пробился один светлый луч... Я вдруг почувствовал, что с этой минуты жизнь государя в безопасности... Половина шипов, вонзившихся в сердца его подданных, вырывались этим лоскутком бумаги. Так благородны были эти прощальные слова... И так почувствовалось, что он так же, как и мы, а может быть гораздо больше, любит Россию...

* * *

Почувствовал ли государь, что мы растроганы, но обращение его с этой минуты стало как-то теплее...

* * *

Но надо было делать дело до конца... Был один пункт, который меня тревожил... Я все думал о том, что, может быть, если Михаил Александрович прямо и до конца об'явит «конституционный образ правления», ему легче будет удержаться на троне... Я сказал это государю... И просил его в том месте, где сказано: «... с представителями народа в законодательных учреждениях, на тех началах, кои будут ими установлены...», приписать: «принеся в том всенародную присягу».

Государь сейчас же согласился.

— Вы думаете, это нужно?

И присев к столу, приписал карандашом: «принеся в том ненарушимую присягу».

Он написал не «всенародную», а «ненарушимую», что, конечно, было стилистически гораздо правильнее.

Это единственное изменение, которое было внесено...

* * *

Затем я просил государя:

— Ваше величество... Вы изволили сказать, что пришли к мысли об отречении в пользу великого князя Михаила Александровича сегодня в 3 часа дня. Было бы желательно, чтобы именно это время было обозначено здесь, ибо в эту минуту вы приняли решение...

Я не хотел, чтобы когда-нибудь кто-нибудь мог сказать что манифест «вырван»... Я видел, что государь меня понял,

и, повидимому, это совершенно совпало и с его желанием, потому что он сейчас же согласился и написал: «2 марта, 15 часов», то-есть 3 часа дня... Часы показывали в это время начало двенадцатого ночи...

* * *

Потом мы, не помню по чьей инициативе, начали говорить о верховном главнокомандующем и о председателе совета министров.

Тут память мне изменяет. Я не помню, было ли написано назначение великого князя Николая Николаевича верховным главнокомандующим при нас, или же нам было сказано, что это уже сделано...

Но я ясно помню, как государь написал при нас указ Правительствующему Сенату о назначении председателя совета министров...

Это государь писал у другого столика и спросил:

— Кого вы думаете?..

Мы сказали: — князя Львова...

Государь сказал как-то особой интонацией, — я не могу этого передать:

— Ах, — Львов? Хорошо — Львова...

Он написал и подписал...

Время по моей же просьбе было поставлено для действительности акта двумя часами раньше отречения, т.-е. 13 часов.

* * *

Когда государь так легко согласился на назначение Львова, — я думал: «Господи, господи, ну не все ли равно, — вот теперь пришлось это сделать — назначить этого человека «общественного доверия», когда все пропало... Отчего же нельзя это было сделать несколько раньше... Может быть, этого тогда бы и не было»...

* * *

Государь встал... Мы как-то в эту минуту были с ним вдвоем в глубине вагона, а остальные были там — ближе к выходу... Государь посмотрел на меня и, может быть, прочел в моих глазах чувства, меня волновавшие, потому что взгляд его стал каким-то приглашающим высказать... И у меня вырвалось:

— Ах, ваше величество... Если бы вы это сделали раньше, ну хоть до последнего созыва Думы, может быть, всего этого...

Я не договорил...

Государь посмотрел на меня как-то просто и сказал еще проще:

— Вы думаете — обошлось бы?

* * *

Обошлось бы? Теперь я этого не думаю... Было поздно, в особенности после убийства Распутина. Но если бы это было сделано осенью 1915 года, то-есть после нашего великого отступления, — может быть и обошлось бы...

* * *

Государь смотрел на меня, как будто бы ожидая, что я еще что-нибудь скажу. Я спросил:

— Разрешите узнать, ваше величество, ваши личные планы? Ваше величество поедете в Царское?

Государь ответил:

— Нет... Я хочу сначала проехать в Ставку... проститься... А потом я хотел бы повидать матушку... Поэтому я думаю или проехать в Киев, или просить ее приехать ко мне... А потом — в Царское...

* * *

Теперь, кажется, было уже все сделано. Часы показывали без двадцати минут двенадцать. Государь отпустил нас. Он подал нам руку с тем характерным коротким движением головы, которое ему было свойственно. И было это движение, может быть, даже чуточку теплее, чем то, когда он нас встретил...

* * *

Мы вышли из вагона. На путях, освещенных голубыми фонарями, стояла толпа людей. Они все знали и все понимали... Когда мы вышли, нас окружили, и эти люди наперебой старались пробиться к нам и спрашивали: «Что? Как?». Меня поразило то, что они были такие тихие, шепчущие... Они говорили, как будто в комнате тяжело-больного, умирающего...

Им надо было дать ответ. Ответ дал Гучков. Очень волнуясь, он сказал:

— Русские люди... Обнажите головы, перекреститесь, помолитесь богу... Государь-император ради спасения России снял с себя... свое царское служение... Царь подписал отречение от престола. Россия вступает на новый путь... Будем просить бога, чтобы он был милостив к нам...

Толпа снимала шапки и крестилась... И было страшно тихо...

* * *

Мы пошли в вагон генерала Рузского, по путям — сквозь эту расступавшуюся толпу.

Когда мы пришли к генералу Рузскому, через некоторое время, кажется, был подан ужин. Но с этой минуты я уже очень плохо помню, потому что силы мои кончились, и сделалась такая жестокая мигрень, что все было, как в тумане. Я не помню поэтому, что происходило за этим ужином, но, очевидно, генерал Рузский рассказывал, как произошли события.

Вот, вкратце, что произошло до нашего приезда.

28 февраля был отдан приказ двум бригадам, одной снятой с Северного фронта, другой с Западного, двинуться на усмирение Петрограда. Генерал-адъютанту Иванову было приказано принять командование над этими частями. Он должен был оставаться в окрестностях Петрограда, но не предпринимать решительных действий до особого распоряжения. Для непосредственного окружения ему были даны два батальона георгиевских кавалеров, составлявших личную охрану государя в Ставке. С северного фронта двинулись два полка 38 пехотной дивизии, которые считались лучшими на фронте. Но где-то между Лугой и Гатчиной эти полки взбунтовались и отказались итти на Петроград. Бригада, взятая с западного фронта, тоже не дошла. Наконец, и два батальона георгиевцев тоже вышли из повиновения.

Первого марта генерал Алексеев запросил телеграммой всех главнокомандующих фронтами. Телеграммы эти запрашивали у главнокомандующих их мнение о желательности при данных обстоятельствах отречения государя-императора от престола в пользу сына. К часу дня второго марта все ответы главнокомандующих были получены и сосредоточились в руках генерала Рузского. Ответы эти были:

1) От великого князя Николая Николаевича — главнокомандующего Кавказским фронтом.

2) От генерала Сахарова — фактического главнокомандующего Румынским фронтом (собственно главнокомандующим был король Румынии, а Сахаров был его начальником штаба).

3) От генерала Брусилова — главнокомандующего Юго-Западным фронтом.

4) От генерала Эверта — главнокомандующего Западным фронтом.

5) От самого Рузского — главнокомандующего Северным фронтом.

Все пять главнокомандующих фронтами и генерал Алексеев (ген. Алексеев был начальником штаба при государе) высказались за отречение государя императора от престола.

В час дня второго марта генерал Рузский, сопровождаемый своим начальником штаба генералом Даниловым и Савичем — генерал-квартирмейстером, был принят государем. Государь принял их в том же самом вагоне, в котором через несколько часов было отречение.

Генерал Рузский доложил государю мнение генерала Алексеева и главнокомандующих фронтами, в том числе свое собственное. Кроме того генерал Рузский просил еще выслушать генералов Данилова и Савича. Государь приказал Данилову говорить.

Генерал Данилов сказал приблизительно следующее:

— Положение очень трудное... Думаю, что главнокомандующие фронтами правы. Зная ваше императорское величество, я не сомневаюсь, что если благоугодно будет разделить наше мнение, ваше величество принесете и эту жертву родине...

Савич [158] кратко сказал, что он присоединяется к мнению генерала Данилова.

На это государь ответил очень взволнованно и очень прочувственно, в том смысле, что нет такой жертвы, которой он не принес бы для России.

После этого была составлена краткая телеграмма, извещавшая генерала Алексеева о том, что государь принял решение отречься от престола. Генерал Рузский взял телеграмму и удалился, но несколько медлил с отправкой ее, так как он знал, что Гучков и Шульгин утром выехали из Петрограда: он хотел посоветоваться с ними особенно по вопросу о том, кто станет во главе правительства. Генерал Рузский не доверял Львову и предпочитал Родзянко.

Гучкова и Шульгина ожидали с часу на час.

Но уже в три часа дня от государя пришел кто-то с приказанием вернуть телеграмму. Тогда же генерал Рузский узнал, что государь передумал в том смысле, что отречение должно быть не в пользу Алексея Николаевича, а в пользу Михаила Александровича. После повторного приказания вернуть телеграмму, телеграмма была возвращена и таким образом послана не была. День прошел в ожидании Гучкова и Шульгина.

* * *

Все это, должно быть, тогда же рассказал нам генерал Рузский. Во всяком случае, события этого дня можно считать точно установленными в таком виде, как я их изложил. Позднее это подтвердил мне генерал Данилов, который лично был свидетелем вышеизложенного.

* * *

Около часу ночи, а может быть двух, принесли второй экземпляр отречения. Оба экземпляра были подписаны государем. Их судьба, насколько я знаю, такова. Один экземпляр мы с Гучковым тогда же оставили генералу Рузскому. Этот экземпляр хранился у его начальника штаба, генерала Данилова. В апреле месяце 1917 года этот экземпляр был доставлен генералом Даниловым главе Временного Правительства князю Львову.

Другой экземпляр мы повезли с Гучковым в Петроград. Впрочем, обгоняя нас, текст отречения побежал по прямому проводу и был известен в Петрограде ночью же...

* * *

Мы выехали. В вагоне я заснул свинцовым сном. Ранним утром мы были в Петрограде...

Последние дни «Конституции».

(Продолжение.)

(3-е марта 1917 года.)

Не помню, как и почему, когда мы приехали в Петроград, на вокзале какие-то люди, которых уже было много, что-то нам говорили и куда-то нас тащили... И из этой кутерьмы вышло такое решение, что Гучкова куда-то потянули, я уже хорошенько не знаю,—куда. А мне выпало на долю об'явить о происшедшем «войскам и народу». Какие-то люди суетились вокруг меня, торопили и говорили, что войска уже ждут, — выстроены в вестибюле вокзала.

Сопровождаемый этой волнующейся группой, я пошел с ними. Они привели меня в то помещение, где продаются билеты, — словом, во входной зал.

Здесь действительно стоял полк, или большой батальон, выстроившись на три стороны — «покоем». Четвертую сторону составляла толпа.

Я вошел в это карэ, и в ту же минуту раздалась команда. Роты взяли на караул, и стало совершенно тихо...

* * *

Стало так тихо, как, кажется, никогда еще... У меня очень слабый голос... Но я чувствовал, что каждое слово летит над строем и дальше в толпу, и слышно им было все ясно.

Я читал им «отречение»...

* * *

Слова падали... И сами по себе они были, — как это сказать? — вековым волнением волнующие... А тут — в этой обстановке... Перед строем, замершим в торжественном жесте, перед этой толпой, испуганной, благоговейно затихшей, они звучали неповторяемо... И я чувствовал, что слова падают во что-то горячее, что могло быть только человеческим сердцем...

* * *

...Да поможет господь бог России.

* * *

Я поднял глаза от бумаги. И увидел, как дрогнули штыки, как будто ветер дохнул по колосьям .. Прямо против меня молодой солдат плакал. Слезы двумя струйками бежали по румяным щекам...

Тогда я стал говорить... Хорошо-ли, плохо—не знаю... Это кто-то другой говорил — кто больше, сильней, горячее меня...

— Вы слышали слова государя?.. Последние слова... императора Николая II? Он подал нам всем пример... нам всем — русским... как нужно... уметь забывать... себя для России. Сумеем ли мы так поступить? Мы... люди разные... разных званий, состояний... занятий... офицеры и солдаты... дворяне и крестьяне... Инженеры и рабочие... Богатые и бедные... Сумеем ли мы все забыть для того, что у нас у всех есть единое... общее?.. А что у нас — общее?.. Вы все это знаете... Это общее—родина... Россия... Ее надо спасать... О ней думать... Идет война... Враг стоит на фронте... Враг неумолимый, который раздавит нас... раздавит, если не будем все вместе... Если не будем едины... Как быть едиными?.. Только один путь... Всем собраться вокруг... нового царя... Всем оказать ему повиновение... Он поведет нас... Государю-императору... Михаилу... второму... провозглашаю — «ура!».

И оно взмыло—горячее, искреннее, растроганное...

Под эти крики я пошел прямо перед собой, прошел через строй, который распался, и через толпу, которая расступилась, пошел, не зная куда...

* * *

И показалось мне на одно короткое мгновение, что монархия спасена...

* * *

Я очнулся в каком-то коридоре вокзала... Кто-то из железнодорожных служащих твердил мне что-то, и, наконец, я понял, что Милюков уже много раз добивается меня по телефону...

* * *

Я услышал голос, который я с трудом узнал, до такой степени он был хриплый и надорванный...

— Да, это я, Милюков... Не об'являйте манифеста... Произошли серьезные изменения...

— Но как-же?.. Я уже объявил...

— Кому?..

— Да всем, кто здесь есть... какому-то полку, народу... Я провозгласил императором Михаила...

— Этого не надо было делать... Настроение сильно ухудшилось с того времени, как вы уехали... Нам передали текст... Этот текст совершенно не удовлетворяет... совершенно... необходимо упоминание об Учредительном Собрании... Не делайте никаких дальнейших шагов... могут быть большие несчастия...

— Единственное, что я могу сделать, — это отыскать Гучкова и предупредить его... Он тоже где-то, очевидно, об'является...

— Да, да... Найдите его и немедленно приезжайте оба на Миллионную, 12. В квартиру князя Путятина...

— Зачем?

— Там великий князь Михаил Александрович... и все мы едем туда... пожалуйста, поспешите...

* * *

Я спросил кого-то из тех, кто меня почему-то окружили.

— Где Гучков?

— Александр Иванович в железнодорожных мастерских на митинге рабочих, — ответили голоса.

На митинге рабочих... Значит мне надо сейчас пробраться туда к нему и вытащить его оттуда... Но как же быть с текстом отречения?.. Вот я его чувствую под рукой в боковом кармане... И с таким документом на митинг к рабочим?.. Войти-то войдешь, — но выйдешь-ли?.. Могут отнять, уничтожить... И бог его знает, что еще может быть...

Как быть? вокруг меня, ни на секунду не оставляя, была толпа людей, следившая за каждым моим движением... Но ни одного — не то что верного, но просто знакомого лица... Кому передать документ? В это время меня опять позвали к телефону:

— Это я, Бубликов... Я, знаете, на всякий случай послал человека вам... один инженер... совершенно верный... он найдет вас на вокзале... скажет, что от меня... Можете ему все доверить... Понимаете? [159]

— Понимаю.

* * *

Через несколько минут из толпы, меня окружавшей, какой-то господин протискался, сказав, что он от Бубликова... Я сказал ему:

— Вас никто не знает... За вами не будут следить... Идите пешком совершенно спокойно... и донесите... Понимаете?

— Понимаю.

Я незаметно передал ему конверт. Он изчез...

Теперь я мог итти на митинг...

* * *

Я насилу втиснулся...

Это была огромная мастерская с железно-стеклянным потолком. Густая толпа рабочих стояла стеной, а там вдали, в глубине, был высокий эшафот, то-есть не эшафот, а помост, на котором стоял Гучков и еще какие-то люди...

Я стал пробиваться сквозь толпу, заявляя, что у меня «срочное поручение». С трудом я пробился к подножию «эшафота». На помост вела приставная лестница... Я вскарабкался по этой лестнице после целого ряда ссор и об'яснений, что у меня «срочное поручение». Когда я вскарабкался, председатель этого собрания, рабочий, который стоял рядом с Гучковым, говорил речь, такого содержания:

— Вот, к примеру, они образовали правительство... кто же такие в этом правительстве? Вы думаете, товарищи, от народа кто-нибудь?.. Так сказать от того народа, кто свободу себе добывал? Как бы не так... Вот читайте... князь Львов... Князь...

По толпе пошел рокот... Председатель продолжал:

— Ну да, князь Львов... Князь... так вот для чего мы, товарищи, революцию делали... От этих самых князей и графов все и терпели... Вот освободились — и на тебе... Князь Львов...

Толпа забурлила... Он продолжал:

— Дальше... Например, товарищи, кто у нас будет министром финансов?.. Как бы вы думали? Может быть, кто-нибудь из тех, кто на своей шкуре испытал... как бедному народу живется... и что такое есть финансы... так вот, что я вам скажу... Теперь министром финансов будет у нас господин Терещенко... Кто такой господин Терещенко? Я вам скажу, товарищи... Сахарных заводов штук десять... Земли — десятин тысяч сто... Да деньжонками — миллионов тридцать наберется...

Толпа заволновалась...

Я добрался до Александра Ивановича и тихонько передал ему свой разговор с Милюковым.

— Нам надо уходить отсюда...

— Да, но это не так просто... Они меня пригласили, — я должен им сказать...

— Я попробую добиться от этого председателя, чтобы он дал мне слово вне очереди и заявлю, что у нас очень срочное дело...

В это время председатель уже окончил свою речь под оглушительные рукоплескания... И передал слово кому-то другому, такому же, как и он...

Я пристал к нему, объясняя, что мне надо. Он нетерпеливо от меня отбояривался и твердил: «Подождите».

В это время другой оратор распространялся:

— Я тоже скажу, товарищи!.. Вот они поехали... Привезли... Кто их знает, что они привезли... Может быть такое, что совсем для революционной демократии — неподходящее... Кто их просил?.. От кого поехали? От народа?.. От совета солдатских и рабочих депутатов? Нет... От Государственной Думы... А кто такие — Государственная дума? Помещики... Я бы так советовал, товарищи, что и не следовало бы, может быть, Александра Ивановича даже отсюда и выпустить... Вот бы вы там, товарищи, двери и поприкрыли бы...

Толпа задвигалась, затрепетала и стала кричать:

— Закрыть двери...

Двери закрылись... Это становилось совсем неприятным.

В это время председатель сказал тихонько Гучкову, стоявшему с ним рядом:

— Александр Иванович... А вы очень оскорбитесь... если мы документик-то у вас — того...

Гучков ответил:

— Очень оскорблюсь и этого не позволю... А вы вот дайте мне слово...

А я подумал: «опоздали, голубчики... Документик-то — «того». Отослан, куда надо...

В это время неожиданно нам протянули руки помощи. Какой-то человек, по виду рабочий, но с интеллигентным лицом, должно быть инженер, стал говорить:

— Вот вы кричите: «Закрыть двери!», товарищи... А я вам скажу — неправильно вы поступаете... потому что вот смотрите, как с ними — вот с Александром Ивановичем — старый режим поступил... Они как к нему поехали? С оружием? Со штыками? Нет... Вот как стоят теперь перед вами, — так и поехали — в пиджачках-с... И старый режим их уважил...

Что с ними мог сделать старый режим? Арестовать. Расстрелять... Вот — они приехали. В самую пасть. Но старый режим, обращая внимание... как приехали, ничего им не сделал — отпустил... И вот они — здесь... Мы же сами их пригласили... Они доверились — и пришли к нам... А за это, за то, что они нам поверили... и пришли так, как к старому режиму вчера ездили, за это — вы — что?.. «Двери на запор»? Угрожаете?.. Так я вам скажу, товарищи, что вы хуже старого режима...

* * *

Ах — толпа... В особенности — русская толпа... Подлые и благородные порывы ей одинаково доступны и приходят мгновенно друг другу на смену...

* * *

Слова инженера родили обратную волну. Закричали там и здесь:

— Верно, верно говорит. Что там... Открыть двери!..

Но двери некоторое время сопротивлялись.

Тогда взвыли сотни голосов — уже грозных:

— Открыть двери!!!

Двери открылись.

Стал говорить Гучков. Я не помню что — какие-то успокаивающие слова. Во время его речи мне удалось добиться от председателя обещания дать мне слово вне очереди. Он, наконец, понял, почему это нужно, и когда Гучков кончил, дал мне слово. Я сказал им:

— Вот мы тут рассуждаем о том, о другом: хорош ли князь Львов и сколько миллионов у Терещенко. Может быть — рано. Я прислан сюда со срочным поручением: сейчас в Государственной Думе между Комитетом Думы и Советом Рабочих Депутатов идет важнейшее совещание. На этом совещании в е решится. Может быть так решится, что всем понравится. Так, может быть, и это все, что здесь говорится, — зря говорится... Во всяком случае нам с Александром Ивановичем надо немедленно ехать.

— Ну и езжайте... Кто вас держит?

Как раз было время. Мы слезли с Гучковым с эшафота по приставной лестнице и стали пробиваться к выходу. Толпа расступилась скорее дружелюбно, как бы заглаживая, что хотела «закрыть двери».

Мы вышли на залитый солнцем и морозом день. Когда мы прошли несколько шагов, к нам бросилось несколько офицеров:

— Ну, слава богу...

Они были мне незнакомы. Но один из них прошептал мне на ухо:

— Нам сказали, что вас арестовали, там в мастерских... Так вот мы приготовились...

Он показал рукой. На некотором расстоянии обращенный лицом к дверям мастерских притаился приземистый зеленый толстоватый бесхвостый ящер на колесиках,—то-есть пулемет...

* * *

Эти офицеры, должно быть, были саперы. Это потому я так думаю, что Гучкова сейчас же окружили и просили зайти «на минутку» в саперные казармы, которые «тут же». А. И. пошел.

Он быстро вернулся. В это время откуда-то появился приземистый человек — весь в коже, но не черный, а желтый, как будто бы интеллигентный рабочий. У него висел револьвер на поясе. Кто он был, я не знаю, но, словом, он объявил, что автомобиль подан. Мы пошли, неизменно сопровождаемые откуда-то берущейся толпой. Пошли через вокзал на площадь... На площади перед вокзалом была масса народу... У ступеней перона стоял автомобиль под огромным красным флагом. Из окон торчали штыки. Кроме того два солдата лежали на двух крыльях автомобиля на животе, штыками вперед.

Мы полезли в автомобиль. Человек в желтой коже тоже втиснулся. Он сел против меня, вынул револьвер и сказал шоферу, чтобы ехал. Машина взяла ход, тогда он спросил:

— Куда ехать?

Я ответил:

— На Миллионную, 12.

Он сказал шоферу и прибавил как бы в об'яснение:

— Чтобы там не слышали... куда едем...

Я понял, что он наш... Я его больше никогда не видел. Он чего-то боялся. Повидимому, боялся, не преследует ли нас какая-нибудь машина.

* * *

Мы неслись бешено. День был морозный, солнечный... Город был совсем странный — сумасшедший, хотя и тихим помешательством... пока.

Трамваи стали, экипажей, извозчиков не было совсем... Изредка неистово проносились грузовики с ощетиненными штыками. Куда? Зачем? С одним из них мы имели «об'яснение»... Он отстал после ругани нашего «желтокожего».

Все магазины закрыты... Но самое странное то, что никто не ходит по тротуарам. Все почему-то выбрались на мостовую. И ходят толпами. Главным образом — толпы солдат. С винтовками за плечами, не в строю, без офицеров — ходят толпами без смысла... На лицах не то радостное, не то растерянное недоумение... Чего они хотят? Ничего... Они сами не знают... Празднуют «слободу»... И «что, значит, на фронт уже, товарищи, не пойдем»... Вот это в их глазах твердо написано.

И вот это — ужас... Стотысячный гарнизон — на улицах. Без офицеров. Толпами... Значит — конец... Значит — дисциплина окончательно потеряна... Армии — нет... Опереться не на что...

* * *

Машина резала эту бессмысленную толпу... Для чего-то мы крутили по каким-то улицам... Это, должно быть, знал «желтокожий». Два «архангела» лежали на брюхах, на крыльях автомобиля, и их выдвинутые вперед штыки пронзали воздух... Мне все казалось, что они кому-то выколют глаза. На одном углу я заметил единственный открытый магазин: продавали... «цветы»!.. Как глупо...

* * *

Вот Миллионная... Вот знакомый дом с колоннами... И тут бродит какая-то солдатня. Автомобиль останавливается где-то, не доезжая... Не хотят «обращать внимание».

Мы идем несколько шагов пешком. Вот двенадцатый номер. Вошли. Внутри — два часовых... Значит, есть какая-то охрана.

* * *

Поднялись... Квартира Путятина... В передней ходынка платья[160]. И несколько шепчущихся. Спрашиваю:

— Кто здесь?

— Здесь все члены правительства.

— Когда образовалось правительство?

— Вчера...

— Еще кто?

— Все члены Комитета Государственной Думы.., Идите — ждали вас...

— Великий князь здесь?

— Да...

Посредине между ними в большом кресле сидел офицер — моложавый с длинным худым лицом... Это был великий князь Михаил Александрович, которого я никогда раньше не видел.

Вправо и влево от него на диванах и креслах — полукругом, как два крыла только что провозглашенного мною монарха, были все, кто должны были быть его окружением: вправо — Родзянко, Милюков и другие, влево — князь Львов, Керенский, Некрасов и другие. Эти другие были: Ефремов, Ржевский, Бубликов, Шидловский, Владимир Львов, Терещенко, кто еще, не помню [161].

Гучков и я сидели напротив, потому что пришли последними...

* * *

Это было вроде как заседание [162]... Великий князь как бы давал слово, обращаясь то к тому, то к другому:

— Вы, кажется, хотели сказать?

Тот, к кому он обращался, — говорил.

* * *

Говорили о том: следует ли великому князю принять престол или нет...

Я не помню всех речей. Но я помню, что только двое высказались за принятие престола. Эти двое были: Милюков и Гучков...

* * *

Направо от великого князя стоял диван, на котором ближе к великому князю сидел Родзянко, а за ним Милюков.

Пять суток нечеловеческого напряжения сказались... Ведь и Наполеон выдерживал только четыре... И железный Милюков, прячась за огромным Родзянко, засыпал сидя... Вздрагивал, открывал глаза и опять засыпал...

— Вы, кажется, хотели сказать?..

Это великий князь к нему обратился.

Милюков встрепенулся и стал говорить.

Эта речь его, если можно назвать речью, была потрясающая...

* * *

Головой — белый, как лунь, сизый — лицом (от бессонницы), совершенно сиплый от речей в казармах и на митингах, он не говорил, а каркал хрипло...

— Если вы откажетесь... Ваше высочество... будет гибель... Потому что Россия... Россия теряет... свою ось... Монарх... это — ось... Единственная ось страны... Масса,

русская масса, вокруг чего... вокруг чего она соберется? Если вы откажетесь... будет анархия... хаос... кровавое месиво... Монарх — это единственный центр... Единственное, что все знают... Единственное общее... Единственное понятие о власти... пока... в России... Если вы откажетесь... будет ужас... полная неизвестность... ужасная неизвестность... потому что... не будет... не будет присяги... а присяга — это ответ... единственный ответ... единственный ответ, который может дать народ... нам всем... на то, что случилось... Это его — санкция... его одобрение... его согласие... без которого... нельзя... ничего... без которого не будет... государства... России... ничего не будет...

* * *

Белый, как лунь, он каркал, как ворон... Он каркал мудрые, вещие слова... самые большие слова его жизни...

И все же...

И все же он оставался тем, чем он был... Милюковым...

* * *

Великий князь слушал его, чуть наклонив голову. Тонкий, с длинным, почти еще юношеским лицом, он весь был олицетворением хрупкости...

Этому человеку говорил Милюков свои вещие слова. Ему он предлагал совершить: подвиг силы беспримерной...

* * *

Что значит совет принять престол в эту минуту?

Я только что прорезал Петербург. Стотысячный гарнизон был на улицах. Солдаты с винтовками, но без офицеров шлялись по улицам, беспорядочными толпами...

А за этой штыковой стихией — кто? — Совет Рабочих Депутатов и «германский штаб — злейшие враги»: социалисты и немцы.

* * *

Совет принять престол обозначал в эту минуту:

— На коня! На площадь!

Принять престол сейчас — значило во главе верного полка броситься на социалистов и раздавить их пулеметами.

* * *

Терещенко делал мне какие-то знаки. Я понял, что он просит меня выскользнуть в соседнюю комнату на минуту.

Я сделал это.

— Что такое?

— Василий Витальевич! Я больше не могу... Я застрелюсь... Что делать, что делать?..

* * *

Да, — что делать... С ума можно сойти.

* * *

— Бросьте... Успеете... Скажите, есть ли какие-нибудь части... на которые можно положиться?..

— Нет... ни одной...

— А вот внизу я видел часовых...

— Это несколько человек... Керенский дрожит... Он боится... каждую минуту могут сюда ворваться... Он боится, чтобы не убили великого князя... Какие-то банды бродят... боже мой!..

* * *

Мы вернулись...

Керенский говорил:

— Ваше высочество... Мои убеждения — республиканские. Я против монархии... Но я сейчас не хочу, не буду... Разрешите вам сказать совсем иначе... Разрешите вам сказать... как русский — русскому... Павел Николаевич Милюков ошибается. Приняв престол, вы не спасете России... Наоборот... Я знаю настроение массы... рабочих и солдат... Сейчас резкое недовольство направлено именно против монархии... Именно этот вопрос будет причиной кровавого развала... И это в то время... когда России нужно полное единство... Пред лицом внешнего врага... начнется гражданская, внутренняя война... И поэтому я обращаюсь к вашему высочеству... как русский к русскому. Умоляю вас во имя России принести эту жертву!.. Если это жертва... Потому что с другой стороны... я не в праве скрыть здесь, каким опасностям вы лично подвергаетесь в случае решения принять престол... Во всяком случае... я не ручаюсь за жизнь вашего высочества...

Он сделал трагический жест и резко отодвинул свое кресло.

* * *

Много лет тому назад, 14 декабря 1825 года были, как и теперь, — Николай и Михаил...

Николай был государь. Михаил — его брат...

Как и теперь...

Как и теперь, разразился военный бунт...

Бунт декабристов...

Что сделал Николай?

Николай сказал:

— Завтра я или мертв, или император...

— Завтра он вскочил на коня, бросился на площадь и картечью усмирил бунт...

Что сделал Михаил?

Он последовал за старшим братом...

Как и теперь...

Да, как и теперь, потому что и теперь Михаил пошел за братом Николаем...

* * *

За принятие престола говорил еще Гучков.

* * *

Я, кажется, говорил последним. Я сказал:

— Обращаю внимание вашего высочества на то, что те, кто должны были быть вашей опорой в случае принятия престола, то-есть почти все члены нового правительства, этой опоры вам не оказали .. Можно ли опереться на других? Если нет, то у меня не хватит мужества при этих условиях советовать вашему высочеству принять престол...

* * *

Великий князь встал. Тут стало еще виднее, какой он высокий, тонкий и хрупкий. Все поднялись.

— Я хочу подумать полчаса.

Подскочил Керенский.

— Ваше высочество, мы просим вас... чтобы вы приняли решение наедине с вашей совестью... не выслушивая кого-либо из нас... отдельно...

Великий князь кивнул ему головой и вышел в соседнюю комнату [163]...

* * *

Образовались группы... Я был у окна. Подошел Милюков и что-то стал мне говорить.

Вдруг Керенский с трагическим жестом схватил меня за руку.

— Я не позволю... мы условились... Никаких сепаратных разговоров. Все сообща.

Глаза у него сверкали. Лицо — повелительное...

Я немного рассердился.

— Александр Федорович. Нельзя ли другим тоном?..

Он вдруг деформировался совершенно... Лицо стало ласковое, умоляющее...

— Ну, дорогой мой, ну, золотой, ну, серебряный, — ну не расстраивайте!.. ну не расстраивайте же!..

И побежал к другим...

Он был должно быть не «в себе»... Мы пожали плечами и продолжали разговор.

* * *

Великий князь позвал к себе Родзянко. Против этого почему-то Керенский не протестовал. Родзянко пошел [164].

* * *

Кто-то подошел ко мне и сказал:

— Не грустите... существует легенда: будет царствовать Михаил и при нем буд...

* * *

Великий князь вышел... Это было около двенадцати часов дня... Мы поняли, что настала минута.

Он дошел до середины комнаты.

Мы столпились вокруг него.

Он сказал:

— При этих условиях я не могу принять престола, потому что...

Он не договорил, потому что... потому что заплакал...

* * *

Керенский рванулся:

— Ваше императорское высочество... Я принадлежу к партии, которая запрещает мне... соприкосновение с лицами императорской крови... Но я берусь... и буду это утверждать... перед всеми... да, перед всеми... что я... глубоко уважаю... великого князя Михаила Александровича...

* * *

Он сорвался и, наскоро одевшись, умчался... Кто-то об'яснил мне, что он все время дрожал, что ворвутся... что напряжение очень сильно.

* * *

Великий князь ушел к себе. Стали говорить о том, как написать отречение.

* * *

Некрасов показал мне набросок, им составленный. Он был очень плох. Кажется, поручили Некрасову, Керенскому и мне его улучшить. Милюков об'яснил мне, что накануне Комитет Государственной Думы признал необходимым под давлением слева в той или иной форме упомянуть об Учредительном Собрании.

* * *

Княгиня Путятина попросила всех завтракать.

Узкую часть стола занимала сама хозяйка. По правую ее руку — великий князь. По левую посадили меня. Рядом с великим князем был, кажется, князь Львов. Рядом со мной, кажется, Некрасов или Терещенко. Напротив княгини—Керенский. Остальных не помню.

За завтраком великий князь спросил меня:

— Как держал себя мой брат?

Я ответил:

— Его величество был совершенно спокоен... Удивительно спокоен...

Затем я рассказал все, как было...

* * *

После завтрака мы, т.-е. те, кто должен был редактировать акт, перешли в другую комнату. Это была детская. Стояли кроватки, игрушки и маленькие парты...

На этих школьных партах и писалось...

Скоро вызвали Набокова и Нольде [165].

Они, собственно, и обработали более или менее записку Некрасова [166], потому что Некрасов и Керенский то уходили, то приходили.

Керенский все торопил, утверждая, что положение очень трудное.

Однако он же и затевал споры.

Особенно долго спорили о том, кто поставил Временное Правительство: Государственная ли Дума или «воля народа»?

Керенский потребовал от имени Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, чтобы была включена воля народа. Ему указывали, что это неверно, потому что правительство образовалось по почину Комитета Государственной Думы.

Я при этом удобном случае заявил, что князь Львов назначен государем императором Николаем II, приказом Правительствующему Сенату, помеченным двумя часами раньше отречения. Мне об'яснили, что они это знают, но что это надо тщательнейшим образом скрывать, чтобы не подорвать положение князя Львова, которого левые и так еле-еле выносят.

Наконец помирились на том, чтобы было «волею народа, по почину Государственной Думы», но в окончательном тексте «воля народа» куда-то исчезла. Как это случилось, не помню.

* * *

Наконец, составили и передали великому князю[167]. В это время в детской оставались Набоков, Нольде и я. Через некоторое время секретарь великого князя, не помню его фамилии, высокий, плотный блондин, молодой, в зем-гусарской форме, принес текст обратно. Он передал, что великий князь всюду просит употреблять от его лица местоимение «я», а не «мы» (у нас всюду было «мы»), потому что великий князь считает, что он престола не принял, императором не был, а потому не должен говорить — «мы». Во-вторых, по этой же причине, вместо слова «повелеваем», как мы написали, — употребить слово «прошу». И, наконец, великий князь обратил внимание на то, что нигде в тексте нет слова «бог», а таких актов без упоминания имени божия не бывает.

Все эти указания были выполнены и текст переделан. Снова передали великому князю, и на этот раз он его одобрил.

Набоков сел на детскую парту переписывать набело.

* * *

«Тяжкое бремя возложено на меня волею брата моего, передавшего мне императорский всероссийский престол в годину беспримерной войны и волнений народных. Одушевленный единой со всем народом мыслью, что выше всего благо родины нашей, принял я твердое решение в том лишь случае восприять верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому надлежит всенародным голосованием через представителей своих в Учредительном Собрании установить образ правления и новые основные законы Государства Российского. Посему, призывая благословение божие, прошу всех граждан Державы Российской подчиниться Временному Правительству,

по почину Государственной Думы возникшему и облеченному всею полнотою власти, впредь до того, как созванное возможно в кратчайший срок на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования Учредительное Собрание своим решением об образе правления выразит волю народа.»

* * *

За это время все разъехались. Великий князь несколько раз говорил со мной. Говорил, так сказать, попросту. Хотя он не знал меня раньше, но, видимо, инстинктивно чувствовал, что мне династия дорога не только разумом, но и чувством. Великий князь, кроме того, внушал мне личную симпатию. Он был хрупкий, нежный, рожденный не для таких ужасных минут, но он был искренний и человечный. На нем совсем не было маски. И мне думалось:

— Каким хорошим, конституционным монархом он был бы...

Увы... Там, в соседней комнате, писали отречение династии.

* * *

Великий князь так и понимал. Он сказал мне:

— Мне очень тяжело... Меня мучает, что я не мог посоветываться со своими. Ведь, брат отрекся за себя... А я, выходит так, отрекаюсь за всех...

* * *

Это было часов около четырех дня — у окна в той комнате, где много ковров и мягких кресел...

* * *

К сожалению, от меня совершенно ускользает самая минута подписания отречения [168]... Я не помню, как это было. Помню только почему-то, что Набоков взял себе на память перо, которым подписал Михаил Александрович. И помню, что появившийся к этому времени Керенский умчался стремглав в типографию (кто-то еще раз сказал, что могут каждую минуту «ворваться»).

Через полчаса по всему городу клеили плакаты:

«Николай отрекся в пользу Михаила, Михаил отрекся в пользу народа».

Я вспоминаю опять все ясно с той минуты, когда я шел домой через Троицкий мост.

Я пять суток не был дома.

За это время...

За это время я присутствовал при отречении двух государей... Когда, пять дней тому назад, я шел через этот же мост, — Россия была империей... Теперь что она?

* * *

И не республика, и не монархия... Государственное образование без названия.

Впрочем...

* * *

Впрочем, разве уже не одиннадцать с лишним лет мы «без названия»?

* * *

«Empire constitutionelle Sous un Tsar autocrate».

«Конституционная Империя под Самодержавным Царем». Так назвал Россию международный альманах Гота с 1906 г.

«Scheinkonstitutionalismus», — говорили немцы...

«Никакой закон не может восприять силы без одобрения Государственной Думы», — говорили Основные Законы.

«Самодержавие мое остается при мне, как и встарь», — говорил создавший этот строй государь.

* * *

Последний государь...

Вот она — «Русская Конституция». Началась еврейским погромом и кончилась разгромом династии.

* * *

Я оперся на парапет. Закат вычертил за Петропавловской кровавые плакаты... Я вспомнил.

Я вспомнил, как в 1905 году, после манифеста 17 октября, за то, что не было в нем равноправия, «жиды» сбросили царскую корону.

И как жалобно зазвенел трехсотлетний металл, ударившись о грязную мостовую.

И как десятки, сотни, миллионы русских вдруг почувствовали смертельную обиду и страх, бросились, подняли царскую корону и коленопреклоненно вернули ее царю:

«Царствуй на страх врагам...
«Царствуй на славу нам»...

* * *

И царь царствовал...

* * *

Увы! .

Прошло одиннадцать лет...

И вот, уж не «жидовскими происками», стала вновь падать корона.

Государственная Дума бросилась подхватить ее из ослабевших рук императора Николая...

И поднесла Михаилу...

Но Михаил не мог принять ее из рук Государственной Думы... Ибо и Дума была уже — ничто...

И корона покатилась...

* * *

Жалобно звенит она о гранит мостовых.

Но на этот раз никого не будит этот звон.

Народ не бежит взволнованный и ужасный, как тогда...

«И казаки на зов Палия
Не налетят со всех сторон»...

* * *

И пройдут месяцы, может быть, годы, вернее — долгие годы...

Пока...

Пока зазвучит набат.

* * *

Какой это будет год?

* * *

Петропавловский собор резал небо острой иглой. Зарево было кроваво...

* * *

«Да поможет господь бог России»...

ПРИМЕЧАНИЯ.

1. «Киевлянин» — литературно-политическая газета, выходившая в Киеве с 1864 г. Основана В. Я. Шульгиным, отцом автора «Дней». Газета была органом националистов и руссификаторов, преследуя национальные движения Украины и Польши.

2. Пихно, Дмитрий Иванович — род. в 1853 г. Экономист, проф. Киевского университета. С 1879 г. редактор газеты «Киевлянин».

3. Этот манифест — манифест 17 октября. Об истории издания манифеста даны сведения в «Воспоминаниях» гр. Витте.

4. Витте, Сергей Юльевич — министр финансов и премьер-министр первого, после манифеста 17 октября, кабинета. Вел переговоры о заключении мира с Японией. О деятельности Витте см. его «Воспоминания».

5. События в Киеве в октябре 1905 г. — Демонстрации и вслед за ними погром (см. примеч. 7).

6. Мир с Японией. — См. примеч. 12.

7. Октябрьский погром в Киеве. — Погромы были формой гражданской войны — наступления дворянско-феодальных верхушек и мелкой буржуазии города на революцию. Отсюда тесный союз между погромщиками и правительственным аппаратом. О том, кто устраивал погромы в России, см. Лавринович, «Кто устраивал погромы в России?» О киевском погроме официальное расследование напечатано в I т. «Материалов к истории русской контр-революции. Погромы по официальным документам». СПБ. 1908 г.

8. Екатерина II — императрица Российская (1762—1796), родилась в 1729 году; принцесса Ангальтцербстская, жена Петра III, после низвержения его с престола и убийства (Петр III был низложен 28-го июня и убит 6-го июля 1762 г.) заняла престол. Одно время была слишком близка с Потемкиным, во дворце которого бывала.

9. Желтый блок. — Так называли правые прогрессивный блок. Он возник во время войны, как единый фронт всей буржуазии против революции и за доведение войны до «победного конца». Состав IV Думы в партийном отношении был таков: правые и примык. к ним—65; национ. и умеренные прогр.—88; группа центра—32; октябр.—98; польское коло и польско-белорусская группа—15; прогрессисты—48; мусульманская группа—6; к.-д.—59; трудовики—9; с.-д.—15; беспартийных—7.

10. Маклаков. — Существовало два Маклаковых. Один к.-д., член Госуд. Думы; другой министр внутренних дел во время войны и посол в Париже — активный участник и организатор интервенции.

11. «Дума народного гнева». — Так называла к.-д. публицистика II Думу.

12. Русско-Японская война.—О причинах и значении войны существует обширная литература. Марксистский анализ ее дан у М. Н. Покровского, «Русская история в сжатом очерке», ч. III, вып. I.

13. Столыпин, Петр Аркадьевич — род. в 1862 г., умер 5-го сентября 1911 г., ранен Богровым 1 сентября, в Киеве.

Киевский предводитель дворянства, гродненский и саратовский губернатор, министр внутренних дел (с 1906 г.) и председатель Совета Министров, член Госуд. Совета и статс-секретарь. Руководитель подавления революционного движения, диктатор-вешатель. Из его законодательных мероприятий замечательны: закон о Думе, уничтоживший старый избирательный закон и всецело передавший Думу в руки правительства аграриев и буржуазии (закон 3 июня 1907 года), и законы о земле 9 ноября 1906 г. и 14 июля 1910 г., пытавшиеся создать собственнический барьер вокруг дворянских имений.

14. «Отруба» и «хутора». — Закон о выделе на хутора и отруба, изданный Столыпиным, своей целью имел создать вокруг дворянских имений собственнический барьер из крестьян-кулаков. Он насаждал в русской деревне прусский тип аграрного капитализма, употребляя выражение т. Ленина. Об'ективно он довершал процесс крестьянского обезземеленья, начатый в 1861 г. и выгодный промышленному капитализму.

О результатах и значении столыпинского законодательства см. М. Н. Покровский, «Очерки по истории революционного движения в России; Чернышев, «Русская Община по закону 9 ноября»; Першин, «Выделение на хутора и отруба»; Дубровский, «Столыпинские реформы».

15. Стенька Разин. — Предводитель огромного восстания казаков, крестьян и инородцев Поволжья против власти Московского Государства. О смысле и значении «Бунта Стеньки Разина» см. М. Н. Покровский, Русская История, т. II.

16. Раздавил революцию. — Столыпин раздавил революцию, т.-е. применял в широчайших размерах смертную казнь, разогнал и перearестовал рабочие организации и их руководителей, ввел в широких размерах в действие военные суды для расправы с революционерами.

17. Богров. — Убийца Столыпина. Охранник и провокатор. Пом. прис. пов. См. о нем Б. Струмилло, «Материалы о Дм. Богрове», «Красная Летопись», № 9.

18. Эдиссон — американский изобретатель. Сделал огромное количество изобретений в области электричества. Изобрел автоматический телеграф и фонограф. Род. в 1847 г.

19. Коковцев, Владимир Николаевич — министр финансов (с 1904 г. — по октябрь 1905 г. и с 1906 г. — по январь 1914 г.). Предс. Сов. Мин., назначен 9 сент. 1911 г.

20. Крупп, Фридрих — владелец небольшого сталелитейного завода. Крупп Альфред (1812—1877) усовершенствовал дело — приготовлял пушки. Крупп, Фридрих-Альфред (1854—1902) — друг имп. Вильгельма, пушечный король. На заводах Круппа работало более 68.000 рабочих. Крупп владел 4 каменноугольными копями и 414 железными рудниками. Приготовлял пушки почти для всего мира. Находился в тесной связи с германским военным министерством.

21. Война с Германией. — Империалистическая война в 1914—18 г.г., охватившая весь мир. О причинах этой войны существует колоссальная литература. Роль России в причинах войны особенно выдвигает М. Н. Покровский в ряде своих работ.

22. Заседание Думы 26 июля 1914 г. — Заседание Госуд. Думы и Совета в Зимнем дворце открылось речью Николая II, потом были произнесены речи предс. Госуд. Сов. Голубевым и предс. Думы Родзянко. Заседание Думы в Таврическом дворце состоялось 26 июля, на нем был оглашен манифест о войне, и в тот же день Дума была рас-

пущена. Дума приняла формулу перехода, в которой говорилось: «Переходя к очередным делам и выражая полную готовность содействовать делу обороны страны и обеспечения семей запасных» — т.-е. полное доверие правительству. См. отчет о заседании 26 июля IV Думы четверт. созыва.

23. Грозное отступление 1915 г. — Речь идет об отступлении русской армии, достигшей вершин Карпат и оставшейся в этот момент без боевых припасов. О размерах снаряжения армии и участия в этом «союзных» империалистов см. работу Маниковского «Боевое снабжение русской армии в 1914—18 г.г.».

24. Созыв Думы, прерв. во время войны. — После поражения и отступления из Галиции, когда выяснилось критическое положение армии, была собрана Дума.

25. Милюков, Павел Николаевич — род. в 1859 г. Лидер к.-д. партии, бывший профессор русской истории Московского университета. Идеолог русского империализма. Лидер прогрессивного блока в IV Госуд. Думе. Мин. ин. дел Врем. Прав. 1 состава. Активный организатор интервенции в период гражданской войны. Автор многих научных работ по русской истории. В настоящее время редактирует в Париже белую газету «Последние Новости».

26. Горемыкин, Иван Логгинович — род. в 1839 г. Комиссар по крестьянским делам в Польше в 1860 г., вице-губернатор плоцкий в 1861 г., тов. мин. юстиции в 1895 г., мин. вн. дел в 1906 г., предс. Совета Министров вместо Витте, оставался предс. Сов. Мин. до роспуска Думы и назначения Столыпина. Предс. Сов. Мин. во время Европейской войны. Бюрократ и реакционер.

27. Алексей Толстой, граф, — род. в 1817 г., умер в 1875 г. Поэт и драматург. Имел придворное звание егермейстера и служил во II отд. собств. его имп. велич. канцелярии.

28. Шесть фракций Госуд. Думы. — Партийный состав Думы см. прим. 9.

29. Государственный Совет. — Цитадель дворянско-феодальных групп. Небольшая часть членов Госуд. Сов., главным образом выборные от академических групп и земств, входила в состав прогрессивного блока.

30. Великая хартия блока. — Образование прогрессивного блока описано у Шульгина, это пока единственные воспоминания об этом. Декларацию — программу блока — Шульгин называет великой хартией блока.

31. Воен. министр Поливанов. — Ген. Поливанов был военным министром с 13 июня 1915 г. по 13 марта 1916 г. во время империалистической войны. Род. в 1855 г., умер в 1920 г. После Октябрьской революции в 20 г. был членом Особ. Совещания при Главкоме и был послан в составе делегации в Ригу для ведения мирных переговоров с Польшей, где и умер от тифа.

32. Председатель Госсовета. — Голубев.

33. Родзянко, Мих. Владимирович — род. в 1859 г., предс. екатеринославской губ. земской управы (1900—1906). Камергер двора его величества. Окончил пажеский корпус. Служил в Кавалергардском его величества полку (1878—1882). Новомоск. уездн. предвод. двор. (1886—1896). Член Госуд. Совета, по избранию 1906 г. Поч. миров. судья 1883 г. Почетн. попеч. по реальн. уч. Член III Госуд. Думы. Председ. III и IV Госуд. Думы. Был избран предс. Думы 22 марта 1909 года.

34. Тимашев. — Член Госуд. Совета. Министр торговли и промышленности.

35. Стишинский. — Член Госуд. Совета. Землевладелец. Бюрократ.

36. Стахович, М. А. — Член Госуд. Сов. Землевладелец. Орловский предводитель дворянства.

37. Шебеко. — Член Госуд. Сов. Активный участник гражданской войны на юге России.

38. Гурко, Владимир Иосифович — тов. мин. вн. дел в министерстве Столыпина. Член Госуд. Сов. Правый. Активный организатор и участник интервенции.

39. Граф Толь. — Член Госуд. Сов.

40. Иванов. — Член Госуд. Сов.

41. Дмитрюков, Иван Иванович — род. в 1872 г. Октябрист. Член губ. присутствия. Член III и IV Госуд. Думы.

42. Марков 2-й, Ник. Евгеньев. — род. в 1876 г. Член III и IV Госуд. Думы. Правый. Землевладелец Шигровского уезда.

43. Шингарев, Андр. Иван., — род. в 1867 г., к.-д. Врач по образованию. Член союза «Освобождение». Член II, III и IV Госуд. Думы, член Временного Правительства первого состава.

44. Чихачев, Дмитрий Ник. — род. в 1876 г. Националист. Камер-юнкер. Землевладелец. Член III и IV Госуд. Думы.

45. Львов. — В III и IV Госуд. Думе было два Львова, В. Н. и Н. Н., оба были членами Врем. Правительства. Один как председатель Совета Министров, другой как прокурор святейшего синода.

Львов, В. Н. — род. в 1872 г. Октябрист-землевладелец.

Львов, Н. Н. — тоже октябрист-землевладелец и князь.

46. Крупенский, Пав. Ник. — род. в 1871 г. Член II, III и IV Госуд. Думы. Правый. Хотимский предвод. дворянства. Отставной полковник л.-гв. Гродненского Гус. полка.

47. Маниковский, А. А. — Генерал, работавший по вопросам снабжения русской армии в империалистическую войну.

После Октябрьской революции выпустил книгу по вопросам снабжения армии в империалистскую войну: «Боевое снабжение русской армии в войну 1914—1918 г.г.».

48. Особые совещания. — Форма участия буржуазии в организации и ведении войны: распределение военных заказов и регулирование экономики в целях и интересах буржуазии.

49. Число лиц, привлеченных в минувшую империалистическую войну 1914—1918 г.г. из населения России в армию, следует считать не менее чем в 15 миллионов человек.

Распределение запасов взрослого мужского населения в конце (в ноябре) 1916 г. можно представить в таком виде:

Призвано 14.500.000.		Осталось 14.500.000.			
На фронтах, в запасных батальонах, в частях и учреждениях внутри.	Потери.	Подлежащ. призыву.	Подлежащ. освобождению для нужд промышл., жел. дор. и пр.	Подлежащ. освобождению по физической неспособности.	Осталось в занятых противником областях, эмигр. и уклонилось.
9.000.000	5.500.000	4.500.000	3.000.000	5.000.000	2.000.000

См. Сазонов. «Численность русской армии в войну 1914—1918 годов». (Труды Комиссии по обследованию санитарных последствий войны 1914—1920 г.г.), стр. 123. Госиздат, 1923 г.

Боевые потери с 1/VIII—1914 г. по 1/X—1918 г., по отдельным категориям:

	Офицеров.	Солдат.	Обе группы.
Убито	12.813	652.077	664.890
Ранено и контужено	72.486	3.676.183	3.748.669
Пропало без вести	13.382	2.319.993	2.333.375
Пострадало от ядовит. газов	1.282	63.876	65.158
Всего	99.963	6.712.129	6.812.092

Сазонов. «Потери России в войну 1914—1918 г.г.». (Труды Комиссии по обследованию санитарных последствий войны 1914—1920 г.г.), стр. 173.

50. Штюрмер. — Ярославский губ. (1896—1902). Директор департамента общих дел мин. внутр. дел. Мин. иностранных дел с 28 июня 1916 г. Председ. Совета Министров. Допрос Штюрмера следственной комиссией Временного Правительства напечатан в книге «Падение царского режима», т. I.

51. Алисса Гессенская — Александра Федоровна, жена Николая II. Немецкая принцесса. Властолюбивая истеричка, державшая в руках своего мужа и сама находившаяся всецело во власти Распутина. Попытка характеристики Александры Федоровны дана в «Былом».

52. «Новое Время» — ежедневная газета, выходила до революции в Ленинграде. Основана в 1865 г., в 1876 г., перешла в руки Суворина. Газета занималась апологией правящих дворянско-феодальных групп, в резко выраженном националистическо-консервативном духе.

53. Мясоедов. — Бывший жандармский офицер, начальник Вержболовского жандармского управления, переведенный из Вержболова в центральную Россию, подозреваемый в связи с контрабандистами и в шпионстве в пользу Германии. Несмотря на заявление ряда органов о подозрениях, падающих на Мясоедова, был принят снова на службу Сухомлиновым и повешен, как шпион в 1915 году.

54. Шидловский, Сергей Илиодор. — род. в 1861 г. Землевладелец-октябрист. Член III и IV Госуд. Думы. Товарищ предс. Госуд. Думы. Ему принадлежат интересные «Воспоминания», ч. I и II, изд. 1923 г., Берлин.

55. Капнист 2-й. — Член IV Госуд. Думы, октябрист.

56. Скоропадский, Георг. Васильев.—род. в 1873 г. Октябрист. Член III Госуд. Думы.

57. Львов 2-й, Владимир Никол. — род. в 1872 г. Октябрист. Член III и IV Госуд. Думы. Землевладелец. Окончил университет и слушал курсы московской духовной академии.

58. Половцев 2-й. — Правый депутат. Член III и IV Госуд. Думы. Совершил вместе с Корниловым первый корниловский поход, окончившийся смертью Корнилова. Издал об этом за границей воспоминания, под названием «Рыцари тернового венца».

59. Плеве, Вячесл. Константинович — род. в 1846 г., убит в 1905 г. Сазоновым. С 1881 г. директор департамента полиции, товарищ министра внутренних дел.

60. Кишиневский погром — произошел в апреле 1903 г. в городе Кишиневе.

61. Измена Правительства. — Правительство во время империалистической войны делало несколько попыток завязать переговоры с Германией. Разбор этого см. у Покровского, М. Н., в его статьях об империалистической войне, особенно в книжке «Царская Россия и война».

62. Ген. Шуваев. — Воен. мин. времен империалистической войны. Интендантский генерал.

63. Распутин — крестьянин Тобольской губ. Через тобольского епископа Варнаву проник в придворные круги, получил влияние на Николая II, эксплуатируя мистическое настроение императрицы. Был убит в декабре 1916 г. Дмитрием Павловичем Романовым и Пуришкевичем. Об образе жизни, роли и значении Распутина напечатан ряд документов и воспоминаний в исторических журналах.

64. Ольга Борисовна Столыпина — жена предс. Совета Министров, Петра Арк. Столыпина.

65. Генерал Курлов — начальник корпуса жандармов, генерал-губернатор Восточной Пруссии. Усмиритель крестьянских волнений 1905—1906 г.г. Выпустил за границей воспоминания «Конец русского царизма». Воспоминания переизданы в России.

66. Меньшиков, Михаил Осипович — публицист, род. в 1859 г. Сотрудник «Нового Времени», сторонник крайней реакции и крутых расправ с врагами дворянско-феодального общества.

67. Замысловский, Георг. Георг. — род. в 1872 г. Правый. Товарищ прокурора вол. судебн. палаты. Член III Госуд. Думы.

68. Чаплинский — член Госуд. Думы.

69. Дело Бейлиса — дело по обвинению еврея Бейлиса в убийстве с ритуальными целями православного мальчика Андрея Ющинского. Дело было возбуждено царским правительством, и мин. юст. Щегловитов пытался сам направлять дело. На самом деле мальчика убили воры из брязни доноса.

70. Вербицкая, Анисья Николаевна — писательница, род. в 1861 г. Автор многочисленных романов из женской жизни. Как писательница, очень легкая; хотя романы ее затрагивают злободневные вопросы, но центр их заключается в подробном описании романтических переживаний и впечатлений. Самые популярные: «Ключи счастья» и «Вавочка».

71. Хлысты — мистическая секта, образовалась в половине XVII столетия.

72. Свидание с вел. кн. Н. Мих. и его письма. — Видя приближающееся падение династии, князья романовского дома обратились к Николаю II с письмом, требуя разрыва с Распутиным; когда это не помогло, кн. Дмитрий Павлович принял активное участие в убийстве Распутина.

73. Пуришкевич, В. М. — род в 1870 г., умер в 1918 г. Член I, II, III и IV Госуд. Думы. Крайний правый монархист. Активный участник и организатор убийства Распутина. Об этом он подрбно рассказывает в своем дневнике, «Дневник члена Госуд. Думы Владимира Митрофановича Пуришкевича», изд. в Риге, в 1918 г., 146 стр. Биография Пуришкевича написана.

74. Ключевский, Василий Осипович — род. в 1841 г., умер в 1911 г. Сын священника. Профессор русской истории Московского университета. Главнейшие работы: «Древне-русские жития святых, как исторический источник», «Боярская дума древней Руси». Целый ряд ценнейших его исследований по истории крепостного права; земских соборов и проч. собран в 3 т. Статьи и речи. Очерки. «Общий курс русской истории» издан в 4 т., 5-й том издан после смерти. Больше всего Ключевского занимает история государства и госуд. учреждений. Маркса, как показывают исследователи творчества Ключевского, он никогда в жизни не читал.

75. Керенский, Александр Федорович — адвокат. Член IV Госуд. Думы. Трудовик-оборонец. Член Временного Правительства всех составов. Активный противник и организатор сопротивления «октябрю».

76. Ефремов, Иван Николаевич — землевладелец, род. в 1866 г. Член I и III Госуд. Думы. Прогрессист.

77. Некрасов, Николай Виссарианович — род. в 1879 г. Профессор Томского технологич. института. Член III и IV Госуд. Думы, к.-д. Член Врем. Правительства.

78. Гучков, А. И. — род. в 1862 г., крупный московский домовладелец и промышленник. Доброволец в Бурскую войну, работал в Красном Кресте во время Русско-Японской войны; председ. Центр. военно-промышленного комитета во время империалистической войны. Основатель «Союза 17 Октября». Председатель III Госуд. Думы. Военный и морской министр Врем. Прав. I состава. Ярый империалист.

79. Щепкин, Д. — Депутат Госуд. Думы, к.-д. Активный участник к.-р. выступлений против Советской власти.

80. Разговор о заговоре. — В литературе данные о заговоре, дворцовом перевороте, имеются у Станкевича в «Воспоминаниях», Деникина «Очерки русской смуты» и Милюкова «История второй русской революции». Судя по Милюкову, было две организации, готовившие дворцовый переворот. Оба кружка считали необходимым установить регентство в лице кн. Михаила Александровича. Первый кружок надеялся совершить переворот при помощи войска. О формах совершения переворота говорит Деникин. «Значительная часть членов первого состава Врем. Прав., — сообщает Милюков, — участвовала в совещаниях этого второго кружка, некоторые знали и о существовании первого». Милюков, «История второй русск. рев.», т. I, стр. 36.

81. Жюль-Верн — французский романист (1828—1905). Автор многочисленных романов-приключений.

82. Земщина.—Так в древней Руси назывались области в противовес опричнине. В середине XVI в. Грозный назвал земщиной области, управляемые боярской думой, в противовес опричнине — областям, управляемым лично им. Земщина здесь в смысле представителей местного дворянства.

83. Верден — французская крепость, выдержавшая атаки германских войск во время империалистической войны.

84. Сухомлинов — род. в 1848 г. С 1909 г. по 1915 г. военный министр. Был обвинен в измене и уволен в отставку. Издал за границей воспоминания о своей деятельности. Переписка Сухомлинова с нач. штаба во время войны ген. Янушкевичем напечатана в «Красном Архиве». Биография Сухомлинова написана Акушевиным: «Генерал от поражений, В. А. Сухомлинов».

85. Жирондисты. — Мелко буржуазная партия времен великой французской революции.

86. Земгор. — Земский и Городской Союзы — буржуазные организации землевладельцев и городской буржуазии, ставившие своей целью поддерживать армию во время войны, брали на себя разрешение, главным образом, хозяйственных задач.

87. Кн. Голицын. — Председатель Совета Министров в момент февральской революции.

88. Письмо Милюкова к рабочим. — Оборонческие группировки призывали рабочих к демонстрациям в день возобновления занятий Госуд. Думы. Рабочие Ленинграда не отозвались на этот призыв, зато он вызвал большой переполох в рядах либеральной оппозиции, и напуганная буржуазия обратилась устами Милюкова к рабочим с призывом не итти за оборонцами. «Последовать этим советам — писал Милюков — значит сыграть в руку врагу. Поэтому, я обращаюсь с убедительной просьбой ко всем, слышавшим эти советы и увещания, не принимать участия в демонстрациях 14 февраля и оставаться в этот день спокойными. Своим спокойствием они расстроят планы своих врагов и лучше всего поддержат своих друзей. Сознательные отношения рабочих кругов к тому тяжелому моменту, который мы переживаем, дает мне надежду, что мой предостерегающий голос будет услышан и коварный замысел не удастся». («Речь № 39, 1917 г. 10 февраля»). Так оценивала рабочее выступление либеральная буржуазия.

89. Приказ генерала Хабалова. — В ответ на агитацию оборонцев приурочить демонстрацию к открытию Гос. Думы, команд. войсками Петроградского военного округа ген.-лейтенант Хабалов издал приказ, в котором писал: «Рабочие Петрограда. На некоторых заводах столицы рабочие призываются к забастовке в день открытия Гос. Думы с тем, чтобы скопом пойти к Таврическому дворцу для пред'явления политических требований. Истинный сын родины на это не пойдет... Тот, кто бастует теперь, изменяет своему отечеству, предает своих братьев, находящихся в окопах... Тем же, кто останется глух к моему обращению, я напоминаю, что Петроград находится на военном положении, и что всякая попытка насилия и сопротивления законной власти будет немедленно прекращена силой оружия».

90. Н. Соколов — с.-д., меньшевик-оборонец. Адвокат по политическим делам. Один из авторов приказа № 1. Активный участник февральской революции.

91. А. И. Савенко — депутат IV Госуд. Думы, правый.

92. А. А. Риттих. — Последний министр земледелия.

93. Струве, Петр Бернгардович — автор манифеста 1-го С'езда партии в 1898 г., участник Лондонского конгресса II Интернационала. Виднейший представитель «легального марксизма». В 1900 г. перешел к либералам и редактировал их заграничный орган «Освобождение». Член ЦК к.-д. партии. Принимал участие в правительстве Деникина и Врангеля. Редактирует в настоящее время в Софии журнал «Русская Мысль». Автор ряда научных работ.

94. Маклаков (депутат), Вас. Алекс. — род. в 1870 г. Присяжный повер. Член II, III и IV Госуд. Думы, к.-д.

95. Покровский, Н. И. — министр ин. дел Николая II и товарищ председателя Центр. военно-промышл. комитета.

96. Скобелев, М. И. — Член IV Госуд. Думы, меньшевик-оборонец. Товарищ председателя и член Исполнительного Комитета Петроградского Совета. 6 мая 1917 г. вошел в первое коалиционное министерство министром труда.

97. Указ о роспуске думы. — «На основании статьи 99 основных государственных законов, повелеваем: занятия Государственной Думы и Государственного Совета прервать 26 февраля с. г. и назначить срок

их возобновления не позднее апреля 1917 г., в зависимости от чрезвычайных обстоятельств. Правительствующий Сенат не оставит к исполнению сего учинить надлежащее распоряжение. На подлинном собственною его императорского величества рукою написано: Николай.

В Царской Ставке 25 февраля 1917 г.

Скрепил: Председатель Совета Министров князь Николай Голицын».

98. Алексеенко, Михаил Мартынович — род. в 1847 г., умер в конце февраля 1917 г. В 1867 г. кончил курс юридического факультета Харьковского университета. В 1870—1890 г.г. читал в Харьковском университете лекции по финансовому праву. Был ректором Харьковского университета, гласным губернского и уездного екатеринославских земств, попечителем учебного округа. Член III Гос. Думы от землевладельцев. Октябрист. Важнейшие научные труды: 1. «Взгляд на развитие учения о налоге у Смита, Ж. Б. Сея, Рикардо, Сисмонди и Д. С. Милля» 1870. 2. «Государственный кредит» 1872. 3. «Подоходный налог и условия его применения» 1885.

99. Ржевский. — Член IV Гос. думы. Прогрессист.

100. Кн. Шаховской. — Член IV Гос. Думы.

101. Шульгин упоминает три совещания Думы под-ряд: заседание бюро прогрессивного блока, созванное Шидловским (Шидловский в своих воспоминаниях не упоминает об этом собрании); заседание старейшин; частное совещание Государственной Думы. Шидловский в своих воспоминаниях описывает частное совещание Государственной Думы в общем так же, как и Шульгин, за исключением выступления Некрасова. Шидловский, рассказывая о прениях на этом собрании, пишет: «Большинство этих предложений в памяти моей не удержалось, помню я только хорошо предложение, внесенное членом Думы Некрасовым, столь прославившимся впоследствии в рядах Временного Правительства, о том, что надлежит установить военную диктатуру, вручив всю власть популярному генералу, которого он здесь же назвал. Это был пользовавшийся большою популярностью среди прикосновенных к военному делу членов Думы начальник главного артиллерийского управления генерал Маниковский. Предложение это не было принято и даже не подвергалось голосованию, и частное совещание вынесло известное постановление о том, чтобы не раз'езжаться и поручить избрание временного комитета совету старейшин». (Шидловский, «Воспоминания», ч. II, стр. 52, 53, изд. в Берлине). В эмигрантской газете «Воля России» за 1921 г., № 153, от 15 марта, была напечатана запись частного совещания Думы. Совещание открылось в 2½ ч. дня. Открывая его, Родзянко заявил: «Нам нельзя еще высказываться определенно, т. к. мы еще не знаем соотношения сил». Шульгин указал, что «мы не можем быть солидарны во всем с восставшей частью населения. Представьте, что восставшие пожелают окончить войну. Мы на это согласиться не можем. Мы можем принять одно из двух более подходящих предложений Некрасова или Коваленко». Предложение Некрасова изложено так же, как и у Шидловского. Коваленко предложил передать власть совету старейшин.

102. Кроме перечисленных у Шульгина, в думский Комитет еще входили: Дмитрюков (прогресс.), Караулов (бесп.), Коновалов (прогрес.). См. Авдеев, «Революция 1917 г. — Хроника событий», ч. I, стр. 40.

103. Шидловский так описывает эту первую встречу Думы с восставшими: «Через несколько времени (во время частного совещания Думы) доложили, что толпа уже вошла в сквер внутри ограды дворца и стоит в некоторой нерешительности перед под'ездом. Решили, что нужно выйти и говорить с толпою. Все бросились на под'езд, уже заня-

тый толпою, и в результате некоторой давки удалось попасть на ступени лицом к лицу с пришедшими — четырем членам Думы: Чхеидзе, Скобелеву, Керенскому и мне. Начал речь к толпе Чхеидзе, за ним говорил Скобелев и Керенский; что они говорили, точно не помню, но помню отлично, что это были типично трафаретные митинговые революционные речи. Им отвечал стоявший как раз перед нами в первых рядах толпы рабочий, совершенно в их духе; он, между прочим, сказал, что им не нужно таких, как Милюков, а вот только что говорившие перед толпой ораторы — их вожди». (Шидловский, «Воспоминания», ч. II, стр. 54, 55).

104. Задачи Комитета Государственной Думы, как и позиция самой Думы, идущей в поводу у революции, ясно выразились в воззваниях, какими Государственная Дума отвечала на революционную обстановку и в которых пыталась, очертив свою позицию, установить задачи и цели движения. Первое воззвание было издано 27 февраля, второе в 2 ч. ночи 28-го февраля.

Позиция Гос. Думы в февральские дни откровенно изображена в мемуарах Родзянко: «Государственная Дума и февральская 1917 г. революция». Мемуаристы, наблюдавшие с другой стороны и сталкивавшиеся с «думцами» во время февральских событий, подтверждают откровенные показания Родзянко, напр., Мстиславский в своей книге «Пять дней» передает фразу Родзянко, характеризующую обстановку так: «Вы нас втащили в это дело — революцию».

ВОЗЗВАНИЯ ВРЕМЕННОГО КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ.

I.

Временный Комитет членов Государственной Думы при тяжелых условиях внутренней разрухи, вызванной мерами старого правительства, нашел себя вынужденным взять в свои руки восстановление государственного и общественного порядка. Сознавая всю ответственность принятого им решения, Комитет выражает уверенность, что население и армия помогут ему в трудной задаче создания нового правительства, соответствующего желаниям населения и могущего пользоваться его доверием.

Председатель Государственной Думы: Михаил Родзянко.
27-го февраля 1917 г.

II.

Временный Комитет Государственной Думы обращается к жителям Петрограда, а также к солдатам с призывом, во имя общих интересов, щадить государственные и общественные учреждения и приспособления, как-то: телеграф, водокачки, электрические станции, трамваи, а также правительственные места и учреждения. Равным образом, Комитет Государственной Думы поручает охране граждан заводы и фабрики, как работающие на оборону, так и общего пользования. Необходимо помнить, что порча и уничтожение учреждений и имуществ, не принося никому пользы, причиняют огромный вред как государству, так и всему населению, ибо всем одинаково нужна вода, свет и прочее. Недопустимы также посягательства на жизнь и здоровье, а равным об-

разом имущества частных лиц. Пролитие крови и разгром имущества лягут пятном на совесть людей, совершивших эти деяния, и могут принести, кроме того, неисчислимые бедствия всему населению столицы.

Председатель Государственной Думы: Михаил Родзянко.

105. Наполеон — император французов. Знаменитый полководец. Шульгин здесь говорит о Наполеоне, как о человеке огромной личной инициативы и смелости, сумевшем захватить власть в свои руки и из простого поручика ставшего французским императором.

106. Бисмарк, Отто-Эдуард-Леопольд — род. в 1815 г., умер в 1898 г. Канцлер Германской империи, обладавший огромной индивидуальностью и волей.

107, 108. Генерал Корнилов — во время империалистической войны был командиром дивизии, потом армии. После февральской революции начальник Петербургского военного округа. После июльских дней Вр Пр. назначен главнокомандующим. Ввел смертную казнь на фронте. В августе 1917 года, войдя в соглашение с Керенским, снял с фронта кавалерийские части и двинул их на Ленинград, с целью установления военной диктатуры. Был отбит, войска его разложились и рассыпались. Корнилов был арестован, но после Октябрьской революции бежал из-под ареста на Дон, где стал вместе с генералом Алексеевым и Деникиным при помощи «союзников» организовывать добровольческую армию для борьбы с Сов. Россией. Прогнанный в 18 году из Ростова, совершил зимний поход на Екатеринодар, при штурме которого был убит. Командование добровольческой армией после Корнилова перешло к ген. Деникину. В этом походе участвовал Родзянко.

О первом походе добровольческой армии, обрисовывающем политические цели и социальный состав добр. армии, существует ряд воспоминаний участников, наиболее интересны: Роман Гуль, «Ледяной Поход»; Суворин, Б., «Воспоминания»; Половцев, «Рыцари тернового венца».

109. Караулов. — Депутат IV Госуд. Думы.

110. Щегловитов. — Сцену ареста Щегловитова Суханов описывает с чужих слов такими чертами: «Щегловитов был арестован на своей квартире каким-то студентом, пригласившим с собой для этой цели встреченную на улице группу вооруженных солдат. Под их конвоем Щегловитов был доставлен в Государственную Думу около трех часов дня. Его ввели в Екатерининскую залу, куда инициативный студент просил войти Керенского. Вокруг невиданного зрелища собралась толпа любопытных. Царский сановник стоял, низко опустив голову, когда подошедший Керенский декламировал фразу, повторенную им в эти дни не один раз: — Господин Щегловитов, — сказал он, — от имени народа об'являю вас арестованным. — В это время сквозь толпу протискивалась могучая фигура Родзянко. — Иван Григорьевич, — как разумный хозяин обратился он к Щегловитову, — пожалуйте ко мне в кабинет — ... Замешательство разрешил студент, заявивший: — Нет, бывший министр Щегловитов отправится под арест, он арестован от имени народа. — Керенский и Родзянко несколько минут красноречиво молча смотрели друг на друга и затем разошлись в разные стороны. Щегловитов был отведен под стражей в знакомый ему министерский павильон Государственной Думы». (Суханов, «Записки революции», кн. I, стр. 84).

111. Сов. Раб. Депутатов. — Вопрос о создании и первых шагах Сов. Раб. Депутатов освещается в записках Суханова, «Записки о революции», кн. I, и Шляпникова, «Семнадцатый год», кн. I. В Совете

преобладали социал-соглашатели. Внутри Совета шла борьба между большевиками, представлявшими революционное крыло движения, требовавшими вооружения пролетариата, создания и присоединения к Совету совета солдатских депутатов, энергичной борьбы с Вр. Комит. Государственной Думы за войско, оборонцы противились вооружению рабочих, боролись против организации солдат.

Агрессивная политика Временного Комитета Государственной Думы, особенно его стремление завоевать армию и удержать династию, ставила его в противоречие с революционной стихией; лишь уступая ей, сохранял Временный Комитет Государственной Думы свое господство. Имевший в своем распоряжении огромные силы, Совет Рабочих Депутатов не давал и мешал организовываться буржуазным силам.

Своим предшественником Сов. Раб. Депутатов в 1917 г. имел Ленинградский Совет 1905 г. О роли и деятельности его, об отношении с.-д. к Советам в пятом году, см. книгу Горина «Совет Раб. Депут. в революцию 1905 года».

112. Хрусталев-Носарь. — Первый председатель первого Ленинградского Совета в 1905 г. Был арестован в 1905 г. Потом ренегировал и сотрудничал в антисемитской буржуазной печати и боролся с Советской властью. Оборонцы пытались выдвинуть его в Совет в 1917 г., но энергичная борьба большевиков с его кандидатурой заставила ее снять. Об этом см. Шляпников, «Семнадцатый год», кн. I. О Хрусталеве-Носаре см. книжку Сверчкова «Хрусталев-Носарь».

113. Суханов-Гиммер.—Встреча Суханова с Милюковым в записках самого Суханова изложена в таких чертах. В первый день революции (27 февраля) Суханов в целях информации о настроении Думского крыла зашел в кабинет товарища председателя Государственной Думы. Здесь встретил А. И. Коновалова и И. Н. Ефремова, которым, «как личным знакомым поставил вопрос о том, каковы намерения и планы руководимых ими кругов и каково их отношение к образованию революционной власти» (стр. 85). «В эту минуту в комнату вошел Милюков, и мои собеседники явно увидели в нем для себя выход из затруднения» (стр. 75). «... Однако, этот разговор никак не входил в мои планы» (стр. 88). «... Но эту беседу, независимо от моей воли, уже начали Ефремов и Коновалов, и я волей судеб должен был ее продолжать. Я отрекомендовался подошедшему Милюкову. — Ваш злейший враг, — в шутку прибавил я, назвав свою фамилию и желая с самого начала придать совершенно приватный тон нашему разговору. — Очень приятно, — как-то не в меру серьезно ответил Милюков... Оговорив и подчеркнув, что побудительной причиной для этого «интервью» является мое личное любопытство, я сказал Милюкову приблизительно следующее...» (стр. 89). Дальше у Суханова следует изложение этого разговора, характерного для обоих собеседников. Суханов, «Записки о революции», кн. I.

114. Пораженец. — Пораженцами во время войны с Германией называли социалистов-интернационалистов, противников войны. Позиция русских социалистов во время войны была изложена Сухановым. Позиция большевиков во время войны изложена т. Лениным и Зиновьевым в сборнике «Против течения».

115. О роли Родзянко в февральской революции можно судить, во-первых, по очень общим, его собственным мемуарам «Государственная Дума и февральская 1917 года революция». Телеграммы и переговоры по прямому проводу со Ставкой и ген. Алексеевым и Рузским напечатаны в 3-м т. «Архива Русской Революции» и у Шляпникова, «Семнадцатый год», кн. II. Палеолог в своих воспоминаниях «Царская Россия накануне революции» тоже рассказывает о переговорах

Родзянко с ним. Из всех этих документов видно, что Родзянко принимал в эти дни все усилия к проведению в жизнь программы прогрессивного блока. Он упорно боролся с наступающей революцией, пытаясь сначала за спиной революции сговориться с монархией и спасти ее, а когда это не удается, он жертвует монархией, спасая позицию буржуазии и создавая условия для успешной реставрации в будущем.

О деятельности Родзянко и буржуазии в февральские дни см.: Лелевич, «Как они делали революцию», Пионтковский, «Февральская революция», изд «Прибой» и статью: «Буржуазия в февральские дни». «Современник», кн. II.

116. Переписка Александры Федоровны с царем в февральские дни — напечатана в IV книге «Красного Архива». Первое упоминание о беспорядках в Ленинграде имеется в письме Александры Федоровны из Царского Села от 24-го февраля: «Вчера были беспорядки на Васильевском острове и на Невском, потому что бедняки брали приступом булочные. Они вдребезги разнесли Филиппова, и против них вызывали казаков. Я надеюсь, что Кедринского (Керенского) из Думы повесят за его ужасную речь — это необходимо (военный закон, военное время), и это будет примером. Все жаждут и умоляют тебя проявить твердость». Движение 25-го февраля царица охарактеризовала так: «... Хулиганское движение, мальчишки и девчонки бегают и кричат, что у них нет хлеба, — просто для того, чтобы создать возбуждение, — и рабочие, которые мешают другим работать. Если бы погода была очень холодная, они все, вероятно, сидели бы по домам. Но это все пройдет и успокоится, если только Дума будет хорошо вести себя. Худших речей не печатают, но я думаю, что за антидинастические речи необходимо немедленно и очень строго наказывать, тем более, что теперь военное время». 26-го февраля Александра Федоровна опять писала Николаю II о беспорядках в Ленинграде: «Вся беда от этой зевающей публики... В городе дела вчера были плохи. Произведены аресты 120—130 человек. Главные вожаки и Лелянов привлечены к ответственности за речи в Городской Думе. Министры и некоторые правые члены Думы совещались вчера вечером... Протопопов писал (в 4 часа утра) о принятии строгих мер, и все они надеются, что завтра все будет спокойно. Те хотели строить баррикады и т. д. В понедельник я читала гнусную прокламацию». Ни о каких уступках тут нет и речи. В ответ на эти письма Николай II прислал ряд писем и телеграмм с извещением, что им посланы войска в Ленинград с фронта.

117. Комендантом Гос. Думы был полковник Энгельгард, член Думы, который был введен самим Родзянко в образовавшуюся при Думе военную комиссию. Об этом эпизоде (тут интересна борьба между представителями Сов. Раб. Деп. и Родзянко за руководящее участие Энгельгардта) рассказывает Мстиславский в своих воспоминаниях «Пять дней».

118. Волконский, Владимир Михаилович — род. в 1868 г. Камергер двора. Тов. председ. III Гос. Думы.

119. Исполн. Комит. Сов. Солдат. и Раб. Депутатов. — Об Исполнительном Комитете Сов. и его деятельности говорит та же литература, что и о Совете. Вопрос о власти в Исполн. Ком. ставился не раз. Обсуждение этого вопроса и требования Совета к буржуазии изложены у Суханова. Позиция большевиков изображена у Шляпникова, «Семнадцатый год», кн. I.

120. Комиссары Думы. — В целях овладения гос. аппаратом, за обладание которым Временный Комитет Государственной Думы вел энергичную борьбу, им 28 февраля во все министерства были направлены комиссары, члены Гос. Думы. В № 4 «Известий Думских Жур-

налистов» был опубликован список назначенных комиссаров. В Мин. Внутренних Дел — гр. Д. П. Капнист, А. М. Масленников, И. Н. Ефремов, М. И. Арефьев; Почта — А. А. Барышников, И. К. Черносвитов; Телеграф — П. П. Гронский, М. Д. Калугин; Мин. Военное и Морское — Н. В. Савич, А. П. Саватеев; Мин. Земледелия — Н. К. Волков, И. П. Демидов, кн. Васильчиков, гр. Капнист; Мин. Юстиции — В. А. Маклаков, М. С. Аджемов, В. П. Басаков; Мин. Торговли и Промышленности — С. Н. Родзянко, Н. Л. Ростовцев; Мин. Финансов — В. А. Виноградов, И. В. Титов; Мин. Путей Сообщения — Бубликов, Добровольский; Сенат — П. В. Годнев; Петроградское Градоначальство — П. В. Герасимов, В. Н. Пепеляев.

121. Бубликов. — Крупный железнодорожный деятель. Депутат IV Государственной Думы. Прогрессист. Участник Московск. Гос. Совещания в 1917 г., скрепивший рукопожатием с Церетели коалицию буржуазии с социал-соглашателями. Один из первых, как представитель Думского Комитета, захватил в свои руки Мин. Путей Сообщения. О его деятельности нам сообщает Ломоносов, «Воспоминания о мартовской революции 1917 г.».

122. Об организации военной силы в Ленинграде на случай революции см. показания Хабалова и Протопопова. «Падение царского режима», т. I.

123. Протопопов, Ал. Дмитр.—Мин. внутр. дел. Допрос Протопопова следственной комиссией в книге «Падение царского режима», т. I.

124. Падение Адмиралтейства описано в показаниях ген. Хабалова, данных им Чрезвычайной Комиссии Временного Правительства. («Падение царского режима», т. I, показания ген. Хабалова).

Судя по этим показаниям, в последний момент в Адмиралтействе было не более 1.500 войск при двух орудиях, без снарядов. Когда перед защитниками Адмиралтейства встал вопрос, что делать, то, по словам Хабалова: «Если мы выйдем с оружием и будем отступать (войско) от города, проходя через город, несомненно, что это приведет к нападению со стороны толпы и к ответу со стороны этих войск»... «Т.-е. выйдет кровопролитие и кровопролитие безнадежное, в смысле какого-нибудь успеха. И поэтому здесь, так сказать, в совете (порядка здесь было очень мало: советчиков было очень много, командиров тоже может быть слишком много... или слишком мало...), в совете решено было так: сложить все оружие здесь, в самом здании Адмиралтейства, просить принять на хранение, а затем выйти обезоруженными... Так и было поступлено... Просто разошлись — постепенно, оставив орудия... Сдачи не было, кому же сдаваться?..». «Падение царского режима», т. I, стр. 205, 206.

125. Родзянко о переговорах со Ставкой. — Попытка Родзянко проехать в Ставку. Об этой попытке Родзянко пробраться в Ставку рассказывает ряд мемуаристов. Суханов («Записки о революции», кн. I, стр. 182) говорит лишь о том, что в Исполн. Ком. обращался какой-то полковник от имени Родзянко с просьбой разрешить ему поездку в Ставку. Шидловский («Воспоминания», кн. II, стр. 83), рассказывает об условиях, на каких Исполн. Ком. соглашался на поездку Родзянко, тот же рассказ и у Шульгина, и, наконец, Ломоносов («Воспоминания о мартовской революции 1917 г.», стр. 34, 35, 36) рассказывает, как министерство путей сообщения готовило поезд для Родзянко и вело об этом переговоры с Думой.

126. Волков, Николай Константинович — род. в 1875 г. Сын купца (к.-д.). Член 3-й и 4-й Государственной Думы. Комиссар Думы.

127. Приказ № 1: — Приказ № 1 своей целью имел вырвать армию из рук буржуазии и тем самым превратить ее из орудия контр-револю-

ции в орудие революции. Историю создания этого приказа т. Шляпников в своих мемуарах описывает так: «На одном из концов стола с листом бумаги в руках сидел штатский человек, Ник. Дм. Соколов, окруженный представителями от солдат, среди которых помню: А. Падерина, Садовского, В. Баденко, Ф. Линде, диктовавших Н. Д. Соколову параграфы приказа. Остальные члены Исполнительного Комитета не вмешивались в их техническую работу, выжидая, когда приказ будет закончен и целиком поставлен на обсуждение.

«Частенько в группе возникали споры, тогда вставали, переходили к окну, выходившему в запушенный снегом сад, садились у окна и вновь продолжали писать. Наконец, приказ готов, предложен Исполнительному Комитету.

«Н. Д. Соколову предлагается зачитать. Торжественно и внятно читает Николай Дмитриевич приказ, приковывая внимание всех к его содержанию. Приказ имел восемь разделов, обнимавших совокупность всей жизни солдата, как в казарме, так и вне ее, вне службы. Ни одного принципиального возражения не было высказано в этот день. Казалось, что все правильно, права солдата ограждены. Так был принят в Исполнительном Комитете знаменитый приказ номер первый. Той же группе товарищей предложили провести его и на собрании Совета, еще не разошедшегося, хотя время было под вечер.

«Солдаты и рабочие заслушали приказ в торжественной тишине. Нужно было видеть лица солдат, чтобы понять, какое революционное значение имел тогда этот приказ. Гул одобрения, как будто гигантский вздох облегчения, раздался в душных, набитых комнатах Совета. Солдаты были вне себя от восторга». Шляпников, «Семнадцатый год», стр. 211.

128. Декабристы.—Под этим именем известно движение, вышедшее из рядов представителей аграрного капитализма — дворян, землевладельцев, промышленников и мелкой буржуазии (Пестель) и кончившееся восстанием 25 декабря 1825 г. в Ленинграде. Характер движения, его цели и задачи см. у М. Н. Покровского, «Очерки по истории революционного движения в России». Шульгина здесь больше всего интересует активная роль Николая I в подавлении декабрьского движения. Об этом у Щеголева, «Николай I, тюремщик декабристов».

129. Энгельгард — полковник, член Думы. Член военной комиссии Вр. Ком. Гос. Думы. О нем у Мстиславского, «Пять дней».

130. Революция в провинции и Государственная Дума. Революция в провинции шла так же, как и в Ленинграде: революционной силой были пролетариат, армия и крестьянство; буржуазия тормозила революцию.

Вр. Ком. Государственной Думы для буржуазной провинции явился знаменем, вокруг которого стали быстро группироваться все буржуазные силы. Об этом см. брошюру С. Пионтковского «Февральские дни 1917 г.».

131. Терещенко.—Финансист и сахарозаводчик. Министр финансов в первом Врем. Пр. и министр иностранных дел в коалиционном после Милюкова. Ничем не замечателен.

132. Военно-промышленные комитеты — были организованы в 1915 г. Официальной их целью была организация работы на оборону. На практике они занимались распределением заказов между промышленниками и служили органами организации промышленной буржуазии и воздействия ее на правительственный аппарат. Председателем В.-П. К. был Гучков. Большевики бойкотировали Воен.-Пр. Комитеты.

133. Тургенев, Иван Сергеевич — род. 28-го окт. 1818 г., умер в 1883 г. Знаменитый писатель.

134. Переговоры с Исполком. Сов. Деп. — О переговорах Исполнительного Комитета с Ком. Государственной Думы об организации власти рассказывает в своих воспоминаниях Суханов («Записки о революции», кн. I), Стеклов в своей речи на мартовском совещании Советов и Милюков в своей «Истории второй русской революции». Шульгин упоминает трех представителей Совета: Суханова, Стеклова, Соколова. Авдеев называет еще Чхеидзе и Филипковского. («Революция 1917 г.», стр. 50). Эти же фамилии упоминает и Милюков.

135. Стеклов, Ю. М. (Невзоров) — род. в 1873 г., с.-д., работал в Одессе, в 1899 г. бежал за границу, участвовал в организации заграничной группы «Борьба». В 1905 г. вернулся в Россию, был снова арестован 30-го декабря на заседании Петросовета; освобожден и эмигрировал.

Автор ряда работ по истории революционного движения в России и по истории Интернационала. Член ВЦИК и редактор «Известий ЦИК».

136. Можайский — член IV Гос. Думы.

137. Резолюция офицеров. — 1 марта собравшимися в здании армии и флота офицерами была принята следующая резолюция: «Офицеры, находящиеся в Петрограде, идя рука об руку с народом и собравшись по предложению Исполнительного Комитета Государственной Думы, признавая, что для победоносного окончания войны необходима скорейшая организация народа и дружная работа в тылу, единогласно постановили: «Признать власть Исполн. Комитета Государственной Думы впредь до созыва Учредительного Собрания». Р. П. (Перец), «В цитадели русской революции», стр. 48.

138. Чхеидзе, Н. С. — род. в 1863 г. Участвовал в с.-д. работе на Кавказе, гласный Батумского и Тифлисского городских самоуправлений. Депутат III и IV Государственной Думы от Тифлисской губ., лидер меньшевиков. Сторонник коалиций. Первый председатель Петросовета (Ленинградского Сов.).

139. Документы об этих переговорах, выразившиеся в ряде телеграмм, напечатаны в «Архиве русской революции», т. III, ген. Лукомским.

140. Вторая Государственная Дума. — О значении и роли II Государственной Думы имеется специальное исследование С. Г. Томсинского. «Борьба классов и партий во Второй Государственной Думе». Изд. «Кр. Н.».

Вторая Дума просуществовала с 20-го февраля по 2-е июня 1907 г.; в момент поражения революции 1905 г. Дума эта по настоянию С'езда об'единенного дворянства была разогнана. Накануне разгона правительство в лице Столыпина, создав фиктивный заговор, потребовало ареста и выдачи всей с.-д. фракции, нарушая тем самым закон о депутатской неприкосновенности. В ответ на требование об аресте с.-д. фракции Думы, к.-д. большинство ее приняло следующую резолюцию: «Охваченная чувством живейшей радости по поводу счастливо избегнутой опасности, грозившей его императорскому величеству, относясь с глубоким негодованием к обнаруженному преступному замыслу, Государственная Дума переходит к очередным делам». 35 членов Думы с.-д. было арестовано.

141. Кн. Путятин — придворный чин. Ничем не замечателен.

142. Острожские. — Западно-русский княжеский род. Вопрос о родоначальнике их решается различно. Первым исторически известным кн. Острожским был Даниил, участвовавший в 1341 г. в восстании

против короля Казимира. Острожские владели огромным количеством земли, годовой доход их достигал 2 миллионов довоенных рублей.

В начале XVII ст. род кн. Острожских пресекся.

143. Рейн, Георгий Ермолаевич — род. в 1852 г. Доктор медицины. Профессор-акушер с.п.б. военно-медицинской академии. Профессор Киевского университета. Землевладелец. Правый член II Государственной Думы.

144. Лукашевич, Степан Владимирович — род. в 1862 г. Член II Государственной Думы; октябрист; председатель золотоношской земск. управы. Лейтенант в отставке.

145. 3-го июня 1907 г. был издан новый избирательный закон в Государственную Думу. Цель закона сводилась к уменьшению числа оппозиционных депутатов и к увеличению влияния землевладельцев на Думу. Для этого ряд городов, раньше избиравших депутатов, был лишен этого, а избиратели в городе были разбиты на две курии: собственников торгово-промышленных предприятий и домовладельцев, с одной стороны, и всех остальных граждан, с другой. Весь избирательный закон 3-го июня 1907 г. очень удачно изображен т. Томсинским («Борьба классов и партий во II Государственной Думе») в схеме, ярко вскрывающей классовую суть нового закона.

146. Крупенский, Пав. Ник. — член Гос. Думы, крайний правый.

147. Вопрос о смертной казни. — В период после 1905 г. применение смертной казни со стороны российского самодержавия ко всем своим врагам.

148. Гегечкори, Евгений Петрович — член III Государственной Думы, с.-д. меньшевик.

149. Архиепископ Антоний. — Церковный деятель и писатель. Сын новгородского помещика, генерала, род. в 1864 г. До монашества Алексей Павлович Храповицкий, с 1902 г. архиепископ Волынский.

Вся философия его сводилась к положению «Православная вера есть вера аскетическая, и все мирское строительство около нее принадлежит самодержавному царю православному». Отсюда его борьба со всеми оттенками освободительного движения и связь с столпами дворянско-феодального порядка типа Победоносцева.

150. Архимандрит Виталий — настоятель Почаевской лавры, черносотенец и изувер.

151. Организация, возникшая в пятом году для борьбы с революцией. — Устраивала погромы и политические убийства. В состав ее входили на верхах землевладельцы и бюрократы, в низах торговцы, мелкая торговая буржуазия и кулаки.

152. Деревенько, матрос — дядька наследника Алексея. О нем в воспоминаниях воспитателя Алексея Жильяра.

153. Ген. Иванов, Ник. Иудович — командовал войсковой частью, посланной Николаем II с фронта на подавление революционного движения в Ленинграде.

О продвижении этой части рассказывает Ломоносов («Воспоминания о мартовской революции 1917 г.», стр. 40, 41). Задержанный на путях к Ленинграду с эшелонами, Иванов просил пропустить только его одного в Царское Село — «Генерал просит пропустить до Царского отдельным паровозом только один его вагон, или прицепить его к дачному поезду. Сейчас доложу комиссару. Бубликов звонит в Думу. Приказано пропустить». — Иванов пытался завязать связи с Ленинградом, по крайней мере об этом рассказывает Р. П. (Перец) («В цитадели русской революции», стр. 67). «В ночь на 2-е марта в Царское Село к генералу Иванову прибыл командированный начальником генерального штаба полковник Домановский. Он доложил генералу

Иванову обстановку в столице, рисуя следующую картину: — Рассчитывать на водворение порядка силой, на вооруженную борьбу с восставшими и Временным Правительством трудно. Для этого потребовалось бы много войск, при чем войска, вновь прибывающие, попадали бы в тяжелые условия расквартирования и продовольствия.

«...В настоящую минуту вооруженная борьба только осложнит, ухудшит положение, что каждый час дорог, и что порядок и нормальный ход можно восстановить легче всего соглашением с Временным Правительством

«Такие указания, — писал полковник Доманевский, — мною получены от начальника генерального штаба».

154. Барон Фредерикс. — Пожизненный министр двора Николая II, бесцветная личность. Во время Европейской войны германским правительством через него была сделана попытка войти в сепаратные переговоры о мире с Россией.

155. Отречение (речь Гучкова). — Заявление Гучкова и Шульгина Николаю II приводит Сторожев в первой книге «Научных Известий». Гучков сказал будто-бы Николаю, мотивируя необходимость отречения:

«„...Движение вырвалось из самой почвы и сразу получило анархический отпечаток, власти стушевались. Я отправился к замещавшему генерала Хабалова генералу Занкевичу и спрашивал его, есть ли у него какая-нибудь надежная часть, или хотя бы отдельные нижние чины, на которых можно было бы рассчитывать. Он мне ответил, что таких нет и все прибывающие части тотчас переходят на сторону восставших". К этому Шульгин прибавил о Думе: „Это сумасшедший дом. Нам придется вступить в решительный бой с левыми элементами", и Гучков, развивая эту же мысль, заявил: „У всех рабочих и солдат, принимающих участие в беспорядках, уверенность, что водворение старой власти это расправа с ними, а потому нужна полная перемена. Нужен на народное воображение такой удар хлыстом, который сразу переменил бы все"».

Буржуазия, добиваясь отречения Николая II, стремилась перейти в наступление, сделав уступку восставшим, пожертвовав Николаем II, тем самым разбить их идеологически и, посадив регента, отстоять и укрепить свою позицию.

156. Ген. Данилов, Владимир Николаевич — род. в 1852 г. Участник сербско-турецкой, русско-турецкой и русско-японской войны. Командир гвардейского корпуса, генерал-квартирмейстер армии во время войны с Германией. Написал за границей записки о русско-германской войне. Главным образом излагает стратегическую историю войны.

157. Гучков привез с собой проект манифеста об отречении. В Ставке был сначала заготовлен проект манифеста об отречении в пользу Алексея, потом был составлен новый об отречении в пользу Михаила. Об этом см. документы, напечатанные Лукомским. «Архив русской революции», кн. III.

158. Савич — член IV Думы. Ничем не замечателен.

159. Какое значение придавала буржуазия манифесту об отречении, показывают ее настойчивые попытки удержать этот акт в своих руках. Ломоносов сообщает такую замечательную сцену:

«Ясное морозное утро, но уже в воздухе чувствуется весна. Измайловский весь увешан флагами. Народу масса, и чем ближе к вокзалу, тем толпа все гуще и гуще. Медленно пробирается автомобиль среди этого живого моря к вокзалу со стороны прибытия поездов. Вдруг мне навстречу слева Лебедев, медленно идущий в своей щегольской шубе с поднятым воротником. Испускаю радостный крик, но он

делает мне тревожно отрицательные знаки. Приказываю автомобилю повернуться. Сделать это в толпе не легко. Наконец, повернулся и за мостом, там, где был убит Плеве, нагоняем Лебедева. Влезает. Вид у него сильно озабоченный.

— Где же акт, где Гучков?

— Акт вот, — хрипло шепчет Лебедев, суя мне в руку какую-то бумагу. — Гучков арестован рабочими.

— Что?.. — спросил я заплетающимся языком, суя в боковой карман тужурки акт отречения.

— В министерстве расскажу.

— Молча входим в кабинет к Бубликову; там сидит Добровольский и довольно много служащих.

— Ну, что? как?..

— Ничего, но... Александр Алéксандрович, у меня есть к вам сообщение совершенно доверительного характера.

— Выйдите, господа, на минуточку. Никого не пускать.

Остались мы вчетвером: Бубликов, Добровольский, Лебедев и я.

— В чем дело?..

— Гучков арестован... Акт отречения вот...

Как ни сенсационна была весть об аресте Гучкова, глаза всех, забывая о нем, впились в положенный мной на стол кусочек бумаги.

«Ставка. Начальнику Штаба».

— Достукался — произнес Бубликов после минуты молчания.— Итак, будем присягать Михаилу... Да, а с Гучковым-то что?

Когда поезд его пришел в Петроград, его здесь встретило порядочно народу, — начал Лебедев, — и он еще на вокзале говорил две речи... а затем пошел на митинг в мастерские.

— Старый авантюрист, — пробормотал Бубликов.

— Когда я приехал, он уже был в мастерских, а Шульгин, член Думы Лебедев, который был в Луге, и начальство сидели в кабинете начальника станции. Было известно, что в мастерских неспокойно. Настроение было тревожное. Затем из мастерских передали, что Гучков арестован, что акта у него не нашли и что идут обыскивать других депутатов, чтобы уничтожить акт.

— Зачем?

— Товарищи переплетчики желают низложить царя, да и все остальные, кажется... Отречения им мало.

— Ну, а потом?

— Потом депутат Лебедев передал мне акт, я потихоньку закоулками на другую сторону, да и дал тягу.

— А Гучков? А другие депутаты?

— Не знаю.

— Я сейчас буду разговаривать с Родзянко, а вы, господа, узнайте, что с депутатами.

Комиссары заперлись, а мы пошли к себе. Акт отречения не давил даже, а жег мне левый бок. По телефону сообщили, что Гучкова выпустили и что он с Шульгиным и Лебедевым уехали в Думу.

С этим известием я вошел к комиссарам. Они представляют полную противоположность. Спокойный, даже, скажу, безразличный, эпикуреец Добровольский, одетый как модная картинка, рассеянно рассматривал свои ногти. Бубликов, растерянный, неряшливо одетый, с отекшим от бессонницы лицом, бегал по комнате, сверкал глазами и произносил проклятия, как язычник.

С их слов, довольно бессвязных, я понял, что в городе положение примерно такое же, как на вокзале. Большинство рабочих против

отречения. С раннего утра, вернее с ночи, в Думе между Комитетом и Советом идут об этом горячие споры. Совет усилен «солдатскими» депутатами.

— Грамоту ищут по всему городу. Возможно, и сюда придут. Где она? — спросил Добровольский.

— У меня в кармане.

— Это не годится. Надо спрятать.

— Положить в несгораемый шкап. Приставить караул.

— Нет, положить в самое незаметное место... и не в этой комнате... Конечно, сохранение этой грамоты или ее уничтожение положения не изменит, но все-таки... во-первых, отречение освобождает войска от присяги... во-вторых, ее уничтожение окрылит черные силы.

— А не снять ли нам, Анатолий Александрович, с акта несколько копий?

— Пожалуй, но только, чтобы никто ничего не знал. Составим Комитет спасения «пропавшей грамоты» из трех.

— Нет, из четырех. Лебедев ее спас.

— Правильно, позовите его сюда.

Пришел Лебедев, ему об'явили положение, и мы с ним отправились снимать копию в секретарскую. А комиссары начали принимать доклады разных учреждений министерства. Лебедев диктовал, я писал. Когда копия была готова, я позвал комиссаров в секретарскую. Мы все вчетвером заверили копию, а подлинник спрятали среди старых запыленных номеров официальных газет, сложенных на этажерке в секретарской.

— Ну, теперь по копии можно начать печатание, — сказал я.

— Нет, надо спросить Думу, — возразил Добровольский.

— Зачем? Ведь, чем скорей грамота будет напечатана, тем скорее весь этот шум прекратится. Да и при том набор, корректура, печать — все это потребует времени. А кроме того, наборщики ждут.

— Нет, надо спросить.

Через несколько минут последовал приказ: „не печатать, но наборщиков не распускать"». (Ломоносов. «Воспоминания», стр. 57, 59, 60).

160. По словам Набокова, который пришел на Миллионную уже после совещаний «с общественными деятелями» в третьем часу:

«На лестнице дома № 12 стоял караул Преображенского полка. Ко мне вышел офицер, я себя назвал, он ушел за инструкциями и, тотчас же вернувшись, пригласил меня наверх». (Набоков, «Временное Правительство», стр. 26).

161. По словам Милюкова, при отречении Михаила присутствовали: кн. Г. Е. Львов, П. Н. Милюков, А. Ф. Керенский, Н. В. Некрасов, М. И. Терещенко, И. В. Годнев, В. Н. Львов, А. И. Гучков, М. В. Родзянко, В. В. Шульгин, И. Н. Ефремов, М. А. Караулов. (Милюков, «История второй русской революции», т. I, в. I, стр. 54). Шульгин в своих записках не указывает М. А. Караулова и П. В. Годнева, приведенных у Милюкова, хотя и говорит при перечислении присутствующих лиц, что были «и другие».

В список присутствующих Шульгин включает Ржевского, Бубликова и Шидловского. Относительно Бубликова существует определенное указание в «Воспоминаниях о мартовской революции 1917 г.» Ломоносова, что Бубликов в это время был в министерстве путей сообщения, Ломоносов же указывает, что в это время на Миллионной находился Лебедев, привезший туда копию акта об отречении из министерства путей сообщения.

162. По словам Шульгина, порядок высказывавшихся был такой, хотя Шульгин и оговаривается: «я не помню всех речей»: Милюков, Керенский, Гучков, Шульгин.

По словам Милюкова, заседание шло таким образом: «Необходимость отказа пространно мотивировал М. В. Родзянко, после него А. Ф. Керенский. После них П. Н. Милюков развил свое мнение, что сильная власть, необходимая для укрепления нового порядка, нуждается в оплоте привычного для масс символа власти. Временное Правительство одно без монарха, говорил он, является «утлой ладьей», которая может потонуть в океане народных волнений, стране при этих условиях может грозить потеря всякого сознания государственной силы и полная анархия раньше, чем соберется Учредительное Собрание. Временное Правительство одно до него не доживет и т. д. За этой речью, вопреки соглашению, последовал ряд других речей в полемическом тоне. Тогда П. Н. Милюков просил и получил, вопреки страстному противодействию Керенского, слово для второй речи. В ней он указывал, что хотя и правы утверждающие, что принятие власти грозит риском для личной безопасности великого князя и самих министров, но на риск этот надо итти в интересах родины, ибо только таким образом может быть снята с данного состава лиц ответственность за будущее. К тому же вне Петрограда есть полная возможность собрать военную силу, необходимую для защиты великого князя. Поддержал П. Н. Милюкова один А. И. Гучков. Обе стороны заявили, что в случае решения, несогласного с их мнением, они не будут оказывать препятствия и поддержат правительство, хотя участвовать в нем не будут». (Милюков, «История второй русской революции», т. I, в. I, стр. 54).

На то, что в силу состоявшегося решения Милюков и Гучков уходят из состава Временного Правительства, указал Набокову и кн. Львов. «Что Гучков уходит, — это не беда: ведь оказывается (sic!), что его в армии терпеть не могут, солдаты его просто ненавидят. А вот Милюкова непременно надо уговорить остаться. Это уже дело ваше и ваших друзей помочь нам», передает слова Львова Набоков («Времен. Правительство», стр. 27). Замечателен этот отказ от Гучкова — готовы были итти на все, чтобы создать «приемлемое» по внешности правительство.

163. Шульгин, как монархист, идеализирует великого князя, другие буржуазные мемуаристы, как Шидловский и Родзянко, замалчивают роль и деятельность Михаила Александровича в февральские дни и изображают его как пассивного участника событий. А между тем, из ряда отрывочных показаний видно, что прежде, чем князь дошел до отречения, он проявлял большую активность. Ориентировался в обстановке и, находясь все время в связи с Родзянко, пытался помочь ему в осуществлении программы прогрессивного блока и спасти монархию. Совершенно неверно, что великий князь появился в Ленинграде лишь 3-го марта. По вызову Родзянко Михаил был в Ленинграде уже 27-го февраля, 1 марта (14) вел переговоры с Бьюкененом, 3-го марта состоялось его отречение; — можно думать, учитывая революционную обстановку тех дней, что он и не уезжал из Ленинграда, а был все время там, — пока шла февральская революция.

В своих воспоминаниях Родзянко рассказывает, что он 27-го февраля вызвал в Ленинград из Гатчины великого князя Михаила Александровича, что между ними при участии Некрасова, секретаря Думы Дмитрюкова и члена Думы Савина состоялось совещание, на котором великому князю заявили, что единственным средством спасти положение является то, что он «должен был явочным порядком при-

нять на себя диктатуру над городом Петроградом, понудить личный состав правительства подать в отставку и потребовать по телеграфу по прямому проводу манифеста государя императора о даровании ответственного министерства. Нерешительность, — добавляет Родзянко,— великого князя способствовала тому, что план этот не был приведен в исполнение». (Родзянко, «Государственная Дума и февральская 1917 г. революция»).

Во всяком случае попытки осуществить этот план великий князь делал, как это видно из показаний Хабалова и Бьюкенена, осуществление же зависело не только от решительности, но и от реальных сил.

Ген. Хабалов на своем допросе следственной комиссии Временного Правительства показывал, что вечером 27-го февраля им и верными правительству войсками был занят Зимний дворец. Между начальниками шел спор, где держаться — в Адмиралтействе или Зимнем — ген. Хабалов по стратегическим соображениям был за Адмиралтейство: «Адмиралтейство по своему положению дает возможность обстреливать три улицы: Вознесенский проезд, Гороховую и Невский проспект, т.-е. подступы от трех вокзалов». Во время этого спора «приехал во дворец великий князь Михаил Александрович, который в этот день был в городе (хотел уехать в Гатчину, но не мог выехать и приехал во дворец). Великий князь также высказался, что лучше не занимать дворец, при чем он попросил и меня и военного министра, обоих...» («Падение царского режима», т. I, стр. 203). Очевидно, великий князь был посвящен в предмет спора. К сожалению, следственная комиссия, сама неясно представлявшая свою цель, не допросила подробно ген. Хабалова об участии в событиях великого князя.

Другое указание на то, что Михаил Александрович принимал активное участие в событиях, имеется у Бьюкенена. В своих «Мемуарах дипломата» Бьюкенен пишет: «В среду 14-го числа великий князь Михаил Александрович, остановившийся в частном доме близ посольства, пригласил меня к себе. Он сказал мне, что, несмотря на то, что случилось в Бологое (задержание царского поезда), он все еще надеется, что император прибудет в Царское Село около 6 часов сегодня вечером; что Родзянко должен представить для подписи его величеству манифест, дарующий конституцию и уполномочивающий Родзянко избрать членов нового правительства, и что сам он, равно как и великий князь Кирилл Владимирович дали свои подписи под проектом этого манифеста с целью подкрепить позицию Родзянко. Его высочество сказал, что он надеется увидеть императора вечером, и спросил меня, не пожелаю ли я чего-нибудь ему сказать. Я ответил, что я просил бы только его умолять императора от имени короля Георга, питающего столь горячую привязанность к его величеству, подписать манифест, показаться перед народом и притти к полному примирению с ним». (Бьюкенен, «Мемуары дипломата», стр. 186, изд. Госиздат. Конечно, к Бьюкенену Михаил Александрович ходил не ради его прекрасных глаз. Вопрос ставился чрезвычайно ясно. Хотели, пытались заручиться поддержкой Англии на случай проведения в жизнь программы буржуазного переворота. Первого марта Родзянко еще надеялся и боролся, великий князь помогал ему и добывал союзников.

164. По свидетельству Шидловского, вместе с Родзянко был позван и князь Львов (Шидловский, «Воспоминания», ч. II, стр. 89).

165. Первоначальный текст акта об отречении Михаила был написан Некрасовым. Это утверждение Шульгина подтверждает и На-

боков В. Д. и Милюков П. Н., но этот проект был, говоря словами Милюкова, «очень слаб и неудачен». Для редактирования проекта был вызван Набоков, по его предложению был вызван Нольде (Набоков, «Временное Правительство», стр. 32).

«К нам же присоединился В. В. Шульгин, — пишет Набоков, — текст отречения и был составлен нами втроем, с сильным видоизменением Некрасовского черновика». (Набоков, «Временное Правительство», стр. 32). Шульгин упоминает еще Некрасова и Керенского, как принимавших участие в составлении манифеста.

166. Акт об отречении Михаила. — При составлении самого акта было необходимо решить ряд вопросов. Набоков так излагает принципиальные соображения, из которых они исходили и к которым пришли при составлении акта:

«Для того, чтобы найти правильную форму для акта об отречении, надо было предварительно решить ряд преюдициальных вопросов. Из них первым являлся вопрос, связанный с внешней формой акта. Надо ли было считать, что в момент его подписания Михаил Александрович был уже императором, и что акт является таким же актом отречения, как и документ, подписанный Николаем II? Но, во-первых, в случае решения вопроса в положительном смысле, отречение Михаила могло вызвать такие же сомнения относительно прав других членов императорской фамилии, какие в сущности вытекали и из отречения Николая II, с другой стороны, этим санкционировалось бы неверное предположение Николая II, будто он вправе был сделать Михаила императором. Таким образом, мы пришли к выводу, что создавшееся положение должно быть трактуемо так: Михаил отказывается от принятия верховной власти. К этому, собственно, должно было свестись юридически ценное содержание акта. Но по условиям момента оказалось необходимым, не ограничиваясь его отрицательной стороной, воспользоваться этим актом для того, чтобы в глазах той части населения, для которой он мог иметь серьезное нравственное значение, — торжественно подкрепить полноту власти Временного Правительства и преемственную связь его с Государственной Думой. Это и было сделано в словах: «Временному Правительству, по почину Государственной Думы возникшему и облеченному всей полнотой власти». Первая часть формулы дана Шульгиным, другая мною». (Набоков, «Времен. Правит.», стр. 33, 34).

Таким образом, при составлении этого акта, с одной стороны, старались оставить открытой дорогу к престолу другим членам семьи Романовых, с другой — усилить Временное Правительство на счет правых группировок, отмежеваться от революции и, связав Вр. Прав. с Думой, тем самым привлечь к нему и либерально буржуазные группировки. Эти стороны акта оценил и Милюков. «Его этот текст удовлетворил, — пишет Набоков, — и, кажется, послужил окончательным толчком, побудившим его остаться в составе Временного Правительства». (Набоков, «Врем. Прав.», стр. 36).

167. «Текст, — пишет Набоков, — был мною переписан и через Матвеева представлен великому князю». Шульгин не упоминает этой фамилии, но говорит о секретаре великого князя. (Набоков, «Временное Правительство», стр. 32).

168. Набоков описывает этот момент так: «... Было около 6 часов вечера. Приехал М. В. Родзянко. Вошел и великий князь, который при нас подписал документ. Он держался несколько смущенно, как-то сконфуженно. Я не сомневаюсь, что ему было очень тяжело, но самообладание он сохранял полное, и я, признаться, не думал,

чтоб он вполне отдавал себе отчет в важности и значении совершаемого акта. Перед тем, как разойтись, он и М. В. Родзянко обнялись и поцеловались, при чем Родзянко назвал его благороднейшим человеком». (Набоков, «Времен. Правит.», стр. 32, 33).

«Дни» Шульгина печатались в ряде номеров издающейся теперь за границей «Русской Мысли»; в настоящем издании текст воспроизведен без всяких сокращений и изменений, полностью и целиком.